



Леонид Николаевич Андреев
Сашка Жигулёв
Серия «Романы и повести»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=148195

Дневник Сатаны: Стрекоза; 2006

ISBN 5-699-17843-0

Аннотация

Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.

Роман знаменитого писателя начала XX века Леонида Андреева повествует о судьбе русского террориста.

Содержание

Часть 1	5
1. Золотая чаша	5
2. Детство Саши	7
3. Наставник мудрый	15
4. Дети растут	23
5. Сны	32
6. Трудное время	34
7. Отец	40
8. Бесталанные	50
9. Весна	64
10. Колесников	73
11. Ночами	86
12. Дальнейшее об отце	91
13. Нельзя ждать	98
14. Господа гимназисты	115
15. На распутье	121
16. Душа моя мрачна	125
Часть 2	139
1. Сеятель щедрый	139
2. Накануне	142
3. Рябинушка	152
4. Первая кровь	168
6. Жегулев	191

7. Огонь	198
8. Смерть Петруши	211
9. Фома Неверный	215
10. Васька плясать хочет	222
11. Елена Петровна	237
12. Пустые дни	249
13. Ярость	259
14. В лесу	264
15. Бред Колесникова	274
16. Пробуждение	280
17. Любовь и смерть	291
18. Прощание	302
19. Смерть Жегулёва	310
20. Эпилог	318

Леонид Андреев

Сашка Жегулёв

Часть 1

Саша Погодин

1. Золотая чаша

Жаждет любовь утоления, ищут слезы ответных слез. И когда тоскует душа великого народа, – мятется тогда вся жизнь, трепещет всякий дух живой, и чистые сердцем идут на закляние.

Так было и с Сашею Погодиным, юношею красивым и чистым: избрала его жизнь на утоление страстей и мук своих, открыла ему сердце для вещей зовов, которых не слышат другие, и жертвенной кровью его до краев наполнила золотую чашу. Печальный и нежный, любимый всеми за красоту лица и строгость помыслов, был испит он до дна души своей устами жаждущими и умер рано, одинокой и страшной смертью умер он. И был он похоронен вместе со злодеями и убийцами, участь которых добровольно разделил; и нет ему имени доброго, и нет креста на его безвестной могиле.

Кто закроет глаза убийце? До последнего суда остаются открыты они и смотрят в темноту покорно. Кто осмелится закрыть глаза Сашке Жегулеву?

Но мать жива, и мать зовет его:

– Мой нежный Саша.

2. Детство Саши

Того, что называют ясным детством, кажется, совсем не было у Саши Погодина. Хотя был он ребенком, как и все, но того особого чувства покоя, безгрешности и веселой бодрости, которое связано с началом жизни, не хранила его память. Казалось, не родился он, как другие, а проснулся: заснул старым, грешным, утомленным, а проснулся ребенком; и все позабыл он, что было раньше, но чувство тяжелой усталости и неведомых тревог лежало бременем уже на первых отроческих днях его. Давно, еще в Петербурге, когда был жив отец, подошел Саша к матери и странно-серьезным голосом пожаловался:

– Ах, мамочка, как я устал, если бы ты знала.

– Набегался, вот и устал, – сказала мать: она видела, как Саша с другими детьми только что носился дико по большому казенному двору и визжал от восторга, – поменьше шалить надо, тогда и не будешь уставать. Смотри, как измазался!

– Нет, я не от этого.

– А от чего же? – вот смешной!

– Так. Я так устал! Как же ты не понимаешь: просто так.

Тут Елена Петровна первый раз в жизни, как ей показалось, взглянула сыну в глаза и испугалась: «Умрет он от скарлатины!» – подумала она, так как в эту пору особенно бо-

ялась для детей скарлатины. Но эпидемия прошла мимо, и вообще Саша был совершенно здоров, рос крепко и хорошо, как и его младшая сестренка, нежный и крепкий цветочек на гибком стебельке, – а то темное в глазах, что так ее испугало, осталось навсегда и не уходило. Как и сестренка, Саша был отчаянно и неудержимо смешлив, и отец его, генерал, иногда нарочно пользовался слабостью: вдруг за чаем, когда у Саши полон рот, скажет что-нибудь смешное: Саша крепится, надует щеки, но не хватает сил – брызнет чаем на скатерть и бежит отсмеиваться в соседнюю комнату. Генерал хохочет и дразнит, а Елена Петровна всматривается в глаза вернувшегося Саши и думает: «Ну, конечно, он будет убит на войне» – в это время Сашу как раз отдали, по желанию отца, в кадетский корпус.

И, вероятно, от этого вечного страха, который угнетал ее, она не оставила Сашу в корпусе, когда генерал умер от паралича сердца, немедленно взяла его; подумав же недолго, распродала часть имущества и мебели и уехала на жительство в свой тихий губернский город Н., дорогой ей по воспоминаниям: первые три года замужества она провела здесь, в месте тогдашнего служения Погодина. Женщина она была твердая, умная, и ей казалось, что в мирной и наивной провинции она вернее сохранит сына, нежели в большом, торопливом и развращенном городе.

Приятный, нисколько не изменившийся Н. не обманул надежд и с готовностью покрыл их своей ненарушимой тиши-

ной. Перестал быть страшным и Саша: в своей мирной гимназической одежде, без этих ужасных погон, он стал самым обыкновенным мальчуганом; и от души было приятно смотреть на его большой пузатый ранец и длинное до пяток ватное пальто. Как это ни странно, но, кажется, ни одна гадалка, ни один прорицатель не могли бы так успокоить Елену Петровну, как это длинное не по росту ватное, точно накрахмаленное пальто; взглянет из окна, как плетется Саша по немощеной улице, еле двигает глубокими галошами, подгибая ватные твердые фалды, и улыбнется: «А я-то боялась... Какие же могут быть ужасы? Вот бы посмотрел генерал!»

Теперь ей казалось, будто и генерал – как она и после смерти называла мужа – разделял ее страхи, хотя в действительности он не дослушал ни одной ее фразы, которая началась словами: «Я боюсь, генерал...»

– А ты не бойся! – говорил он строго и отбивал охоту к тем смутным, женским излипаниям, в которых страх и есть главное очарование и радость.

Были и еще минуты радостного покоя, тихой уверенности, что жизнь пройдет хорошо и никакие ужасы не коснутся любимого сердца: это когда Саша и сестренка Линочка ссорились из-за переводных картинок или вопроса, большой ли дождь был или маленький, и бывают ли дожди больше этого. Слыша за перегородкой их взволнованные голоса, мать тихо улыбалась и молилась как будто не вполне в соответствии с моментом: «Господи, сделай, чтобы всегда было так!»

Но ссорились дети очень редко, были нежно влюблены друг в друга, целые дни проводили в тихой влюбленности. Когда-то сильная любовь отца и матери вторично переживала себя в них – но уже лишенная материальности, ставшая лишь отзвуком отдаленным, прекрасным и чистым. И так странно перемешались черты: Линочка всем внешним обликом своим и характером повторяла отца-генерала; крепкая, толстенькая, с румяным, круглым, весело-возбужденным лицом и сильным, командирским голосом – была она вспыльчива, добра, в страстях своих неудержима, в любви требовательна и ясна. Если она плакала, то это не были тихие слезы в уголке, а громкий на весь дом, победеносный рев; а умолкала сразу и сразу же переходила в тихую, но неудержимо-страстную лирику или в отчаянно-веселый смех. Была ли она радостна, гневна или печальна – об этом знали все. Но у генерала, на которого она так походила, при всех его достоинствах, не было никаких талантов, – Линочка же вся была прожжена, как огнем, яркой и смелой талантливостью. Возьмет в толстенькие, короткие пальчики карандаш – бумага оживает и смеется; положит те же коротенькие пальчики на клавиши: старый рояль с пожелтевшими зубами вдруг помолодел, поет, весело завирается; а то сама выдумает страшную сказку, сочинит веселый анекдот.

Рядом с нею молчаливый Саша казался неприметным и даже бледным. Лицом своим он и действительно был бледен и смугл, этим, как и всем остальным, походя на Елену Пет-

ровну: по матери своей Елена Петровна была гречанкой, лицо имела смуглое и тонкое, глаза большие, темные, иконописные – точно обведенные перегоревшим, но еще горячим, коричнево-черным пеплом. Такие же глаза были и у Саши, а смуглостью своей он удивлял даже и мать: лицо еще терпимо, а начнет менять рубашку – смотреть смешно и странно, точно и не сын, а совсем чужой и далекий человек. Удивляло это; а что еще удивляло и даже до глубины души огорчало Елену Петровну – это полное, казалось, отсутствие талантливости, прискорбное сходство с генералом. Первое время ихней жизни в Н., когда Елена Петровна всеми силами стремилась установить в своей жизни культ красоты, эта Сашина бездарность казалась ей ужасным горем, даже оскорбляла ее, точно ее самое лишили талантов или сказали, что она в своей талантливости ошибается и нет ее совсем.

– Ах, Саша, хоть бы у тебя слух был, а то и слуха нет! – несправедливо упрекала она сына и, чувствуя несправедливость, еще увеличивала ее: – Смотри, как играет Линочка.

А Линочка всплескивала руками и в бурном отчаянии стонала:

– Да и не говори же, родная моя мамочка! У него слуху, как у этой тумбы, нет на копейку. Учю я его, учю, а он даже собачьего вальса не знает!

– Собачий вальс я знаю, – серьезно говорил Саша, не поднимая темных, жутко обведенных глаз.

– Сашка! не зли меня, пожалуйста; под твой вальс ни одна

собака танцевать не станет! – волновалась Линочка и вдруг все свое негодование и страсть переносила на мать. – Ты только напрасно, мама, ругаешь Сашеньку, это ужасно – он любит музыку, он только сам не может, а когда ты играешь эту твою тренди-бренди, он тебя слушает так, как будто ты ангельский хор! Мне даже смешно, а он слушает. Ты еще такого слушателя поищи! За такого слушателя ты Бога благодарить должна!

– Ну, понесла! – радовалась упрекам Елена Петровна, чуть-чуть краснея от удовольствия.

При всех своих талантах она сама была в музыке горестно бездарна и за всю свою жизнь только и научилась играть, что «тренди-бренди» – случайный, переиначенный отрывок из неведомой пьесы, коротенькую вещицу, наивную и трогательную, как детский первый сон. И то, что этот странный Саша так любит эту вещицу, постоянно требует ее, льстило ей, а в неприязнательности звуков заставляло угадывать какой-то новый смысл, непонятную значительность. А для обреченного Саши, когда вступил он в череду страшных событий и познал ужас одиночества, эта пьеска стала как бы молитвой, источником чистой печали, тихой скорби о навеки утраченном.

Но, как видит глаз сперва то, что на солнце, а потом с изумлением и радостью обретает в тени сокровище и клад, – так и Линочкина яркая талантливость только при первом знакомстве и на первые часы делала Сашу неприметным. И

менялось все с той именно минуты, как увидит человек Сашины глаза, – тогда вдруг и голос его услышит, а то и голоса не слышал, и почувствует особую значительность самых простых слов его, и вдруг неожиданно заключит: а что такое талант? – да и нужен ли талант? Но неохотно открывал Саша свой взгляд, как будто знал важность и святость хранящейся в нем тайны, обычно смотрел вниз, на стол или на руки. Эту его особенность хорошо знала Елена Петровна и в материнской гордости, чтобы не дать гостю несправедливо подумать о Саше, заставляла его взглянуть широко и прямо.

Вдруг неожиданно спрашивала:

– Голова не болит у тебя, Сашенька?

Знала, что после этого неожиданного и нелепого-таки вопроса Саша непременно взглянет широко открытыми глазами, несколько секунд будет смотреть удивленно, а потом открыто и ясно улыбнется:

– Отчего же ей болеть? – нет, не болит.

И знала, что после этого взгляда и улыбки гость обязательно подумает: «Какой у нее хороший сын!», а вскоре, уйдя из-под Линочкиных чар, подсядет к Саше, и начнет его допытывать, и не допытает ничего, и за это еще больше полюбит Сашу, и, уходя, уже в прихожей, непременно скажет Елене Петровне:

– Какие у вас хорошие дети, Елена Петровна!

– Да, славные ребятки! – спокойно ответит она и нарочно запустит сухую, но ласковую руку в Линочкины русые куд-

ряшки, прижмет к себе ее горячую, красную щеку; и этим мнимым непониманием окончательно добьет провинившегося и жалкого гостя.

Но Линочка и сама разделяет чувство матери и, ласкаясь, смотрит на глупого гостя с явной насмешкой и страстно думает: «Вот дурак!» А потом, прощаясь с братом на ночь, шепчет ему громким на весь дом шепотом:

– Она тобою гордится! – И еще громче: – Я тоже!

«Она» между детьми называлась мать, а покойный и наполовину забытый отец назывался, по примеру матери, «генералом».

3. Наставник мудрый

Взаимной влюбленности детей, как и проявлению в них всего доброго, очень помогала та жизнь, которую с первых же дней пребывания в Н. устроила Елена Петровна. Труднее всего вначале было найти в городе хорошую квартиру, и целый год были неудачи, пока через знакомых не попалось сокровище: особнячок в пять комнат в огромном, многодесятилетнем саду, чуть ли не парке: липы в петербургском Летнем саду вспоминались с иронией, когда над самой головой раскидывались мощные шатры такой зеленой глубины и непроницаемости, что невольно вспоминалась только что выученная история о патриархе Аврааме: как встречает под дубом Господа.

А в осенние темные ночи их ровный гул наполнял всю землю и давал чувство такой шири, словно стен не было совсем и от самой постели, в темноте, начиналась огромная Россия. Даже Линочка в такие ночи не сразу засыпала и, громко жалуясь на бессонницу, вздыхала, а Саша, приходилось, слушал до тех пор, пока вместо сна не являлось к нему другое, чудеснейшее: будто его тело совсем исчезло, растаяло, а душа растет вместе с гулом, ширится, плывет над темными вершинами и покрывает всю землю, и эта земля есть Россия. И приходило тогда чувство такого великого покоя, и необъятного счастья, и неизъяснимой печали, что обычный

сон с его нелепыми грезами, досадным повторением крохотного дня казался утомлением и скукой.

Первое время петербургские дети боялись сада, не решались заходить в глубину; и особенно пугала их некая недоконченная постройка в саду, кирпичный остов, пустоглазый покойник, который не то еще не жил совсем, не то давно умер, но не уходит. Весь он пророс бурьяном, крапивой и красными цветами, а в одной из беззащитных комнат, где должны были жить люди, спокойно зеленела березка – хорошила кого-то. Но прошло время, и к саду привыкли, полюбили его крепко, узнали каждый угол, глухую заросль, таинственную тень; но удивительно! – от того, что узнавали, не терялась таинственность и страх не проходил, только вместо боли стал радостью: страшно – значит хорошо. И у каждого из детей уже появилось свое любимое тихое местечко, недоступное и защищенное, как крепость; только у девочки Линочки ее крепости шли по низам, под кустами, а у мальчика Саши – по деревьям, на высоте, в уютных извилах толстых ветвей. Ходили друг к другу в гости, и Линочка ужасалась.

И о чем бы ни задумывались дети, какими бы волнениями ни волновались, – начала всех мыслей и всех волнений брались в саду, и там же терялись концы: точно наставник мудрый, источающий знание глубокими морщинами и многодумным взором, учил он детей молчанием и строгостью вида. Без него, пожалуй, не узнал бы Саша так хорошо, ни что такое Россия, ни что такое дорога с ее чудесным очаро-

ванием и манящей далью. И если Россию он почувствовал в ночном гуле мощных деревьев, то и к откровению дороги привел все тот же сад, привел неумышленно, играя, как делают мудрые: просто взлез однажды Саша на забор в дальнем углу, куда никогда еще не ходил, и вдруг увидел – дорогу. Две стены ветхого забора и свесившихся деревьев, а посередине две теплые, пыльные, пробитые в ползучей траве колеи идут далеко, зовут с собою. И никого живого – тишина в глухой улочке: то ли уже проехал, то ли еще проедет. И как Саша ни старался, так и не удалось ему поймать неведомого, который проезжает, оставляя две теплые колеи; когда ни взлезет на забор, – на улочке пусто, тишина, а колеи горят: то ли уже проехал, то ли еще проедет. Так и не увидел неведомого и оттого свято поверил в дорогу, душою принял ее немой призыв; и впоследствии, когда развернулись перед Сашей все тихие проселки, неторопливые большаки и стремительные шоссе, сверкающие белизною, то уже знала душа их печальную сладость и радовалась как бы возвращенному.

Радовалась саду и Елена Петровна, но не умела по возрасту оценить его тайную силу и думала главным образом о пользе для здоровья детей; для души же ихней своими руками захотела создать красоту, которой так больно не хватало в прежней жизни с генералом. Начала с утверждения, что красота есть чистота, – и что же она делала для чистоты! Знала она, что все дети любят грязь, и прямо, как умная, с грешной страстью не боролась, но мыла детей немилосердно,

шлифовала их, как алмазы, и таки приучила: самостоятельно, два раза, утром и вечером, вытираться холодной водой, — уже они и сами не могли без этого обходиться. И, не любя животных, кошку даже с котятами терпела только за то, что она всегда чиста и умывается. Говорила:

— Смотри, Линочка! — с Линочкой ей было много труда, — смотри: и где только сегодня она ни была, сейчас после дождя бежала по двору, а какая чистая! Оттого, что умывается.

А кошка с темным прошлым мерцала загадочно желтыми глазами, жила еще в прошлом; но вдруг опомнилась и начала свой длительный и приятный обряд.

И всю квартиру свою Елена Петровна привела к той же строжайшей чистоте, сделала ее первым законом новой жизни; и все радовалась, что нет денщиков, с которыми никакая чистота невозможна. Потом занялась красотой вещей. Со вкусом, составлявшим неразрешимую загадку для захоластного Н., вдруг изменила обычный облик всех предметов, словно надышала в них красотой; нарушила древние соотношения, и там, где человек наследственно привык наткаться на стул, оставила радостную пустоту. Сама расшила занавеси на окнах и дверях, подобрала у окон цветы, протянула по стенам крашеную холстину — что-то зажелтело, как солнечный луч, а там ушло в мягкую синеву, прорвалось красным и радостно ослепило. Наружу зима, а в комнатках весна и осень, цветы цветут, и на блестящем полу, золотых пятнах солнечных, хочется играть как котенку.

И всем, кто видел, нравилось жилище Погодиных; для детей же оно было родное и оттого еще красивее, еще дороже. И если старый сад учил их Божьей мудрости, то в Красоте окружающего прозревали они, начинающие жить, великую разгадку человеческой трудной жизни, далекую цель мучительных скитаний по пустыне. Так по-своему боролась с Богом Елена Петровна. Но одного все же не предусмотрела умная Елена Петровна: что наступит загадочный день, и равнодушно отвернутся от красоты загадочные дети, проклянут чистоту и благополучие, и нежное, чистое тело свое отдадут всечеловеческой грязи, страданию и смерти.

Было одно неудобство, немного портившее квартиру: ее отдаленность от центра и то, что в гимназию детям путь лежал через грязную площадь, на которой по средам и пятницам раскидывался базар, наезжали мужики с сеном и лыками, пьянствовали по трактирам и безобразничали. Трактирами же была усажена площадь, как частоколом, а посередине гнила мутная сажалка, по которой испокон веку плавали запуганные утка и селезень с обгрызанным хвостом; и если развешенное сено и соломинки и давали вид некоторой домовитости, то от конской мочи и всяких нечистот щипало глаза в безветренный день. Линочка, в первый раз пройдя по площади, сразу возненавидела мужиков, Саша же отнесся с крайним любопытством, хотя и испугался немного и задышал чаще. Но скоро привык, и что-то даже понравилось: запах ли дегтя или даже конской мочи, окладистые ли бороды,

полушубки, пьяные песни – он и сам не знал. Одно он видел: они были совсем другие, чем все, как будто из другого царства, и это и есть их главный и огромный интерес. Очень возможно, что тут была обычная романтика ребенка, много читавшего о путешествиях; но возможно и другое, более похожее на странного Сашу: тот старый и утомленный, который заснул крепко и беспмятно, чтобы проснуться ребенком Сашей, увидел свое и родное в загадочных мужиках и возвысил свой темный, глухой и грозный голос. Его и услышал Саша.

По воскресеньям Елена Петровна ходила с детьми в ближайшую кладбищенскую церковь Ивана Крестителя. И Личка бывала в беленьком платье очень хорошенькая, а Саша в гимназическом – черный, тоненький, воспитанный; торжеством было для матери провести по народу таких детишек. И особенно блестела у Саши медная бляха пояса: по утрам перед церковью сам чистил толченым углем и зубным порошком.

Нищенки-старухи у кладбищенских белых ворот относились к Елене Петровне враждебно и звали ее между собой: «генеральша-то!». Но когда показывалась она с детьми, то высыпали ей навстречу и пели льстивыми голосами:

– Матушка! Деточки-то! И даст же Господь! Матушка!..

От знакомств Елена Петровна уклонялась: от своего круга отошла с умыслом, а с обывателями дружить не имела охоты, боялась пустяков и сплетен; да и горда была. Но те немно-

гие, кто бывал у нее и видел, с каким упорством строит она красивую и чистую жизнь для своих детей, удивлялись ее характеру и молодой страстности, что вносит она в уже отходящие дни; смутно догадывались, что в прошлом не была она счастлива и свободна в желаниях.

Но даже и дети не знали, что задолго до их рождения, в первую пору своего замужества, она пережила тяжелую, страшную и не совсем обычную драму, и что сын Саша не есть ее первый и старший сын, каким себя считал. И уж никак не предполагали они, что город Н. дорог матери не по радостным воспоминаниям, а по той печали и страданию, что испытала она в безнадежности тогдашнего своего положения.

Это было за семь лет до Саши, и генерал тогда сильно и безобразно пил – даже до беспамятства и жестоких, совершенно бессмысленных поступков, не раз приводивших его на край уголовщины; и случилось так, что, пьяный, он толкнул в живот Елену Петровну, бывшую тогда на седьмом месяце беременности, и она скинула мертвого ребенка, первенца, для которого уже и имя мысленно имела: Алексей. И хотя Погодин и уверял, что ударил нечаянно, – и, кажется, это была правда, – оскорбленная женщина решительно отказалась от детей и всякой близости с мужем, пока он совсем и навсегда не бросит пить. Целый год генерал выдерживал пытку и жил с женой в одном доме, но как посторонний; потом на три года разъехался с Еленой Петровной и все три года отчаян-

но пил и путался с женщинами. И снова поселился с женой, пробуя обмануть ее, и снова разъехался – пока, наконец, побледневший от злобы и неутолимой любви, не расплакался у ее ног и не дал страшной клятвы, обета трезвости.

И вторично стала женою его Елена Петровна, и родила ему Сашу, а через полтора года и Линочку; и даже не знали дети, что отец их пил когда-нибудь. Твердо держал свою клятву генерал, но уже незадолго до смерти, после одного из страшных своих сердечных припадков, вдруг прохрипел жене:

– Ты думаешь, я для тебя не пью? Ну так знай же, что я тебя ненавижу и проклинаяю... изверг! Убить тебя мало за то, что ты мне сделала.

Но тут поняла и она, что нет и у нее прощения и не будет никогда – и сама смерть не покроет оскорбления, нанесенного ее чистому, материнскому лону. И только Саша, мальчик ее, в одну эту минуту жестокого сознания возрос до степени высочайшей, стал сокровищем воистину неоцененным и в мире единственным. «В нем прощу я отца», – подумала она, но мужу ничего не сказала.

С тем и умер генерал. И ничего не знали дети.

4. Дети растут

Года три жила Елена Петровна спокойно и радостно и уже перестала находить в Саше то особенное и страшное; и когда первую в чреде великих событий, потрясших Россию, вспыхнула японская война, то не поняла предвестия и только подумала: «Вот и хорошо, что я взяла Сашу из корпуса». И многие матери в ту минуту подумали не больше этого, а то и меньше.

Но уже близилось страшное для матерей. Когда появились первые подробные известия о гибели «Варяга», прочла и Елена Петровна и заплакала: нельзя было читать без слез, как возвышенно и красиво умирали люди, и как сторонние зрители, французы, рукоплескали им и русским гимном провожали их на смерть; и эти герои были наши, русские. «Прочту Саше, пусть и он узнает», – подумала мать наставительно и спрятала листок. Но Саша и сам прочел.

– Отчего ты такой бледный, Сашенька? Устал в гимназии?

– Устал.

– Тебе не хочется говорить? А я думала прочесть тебе про «Варяга».

– Мы уже читали.

Она не расслышала слова «мы» и видела только хмурую бледность, вдруг заметила, что обвод глаз стал словно чернее и сами глаза глубже. И не успела еще осмыслить заме-

ченного, как поднял Саша эти самые свои пугающие глаза и строго сказал:

– Ты не имела права. Зачем ты взяла меня из корпуса? Ты не имела права. Отец не позволил бы брать, если бы не умер.

Она чуть не закричала, но сдержалась и сухо, избегая взгляда, сказала:

– Тебе четырнадцать лет! Этого слишком еще мало, чтобы судить о поступках матери. И ты сам никогда не хотел военной службы.

– Ты не имела права. Люди там умирают, а ты меня бережешь. Ты не имеешь права меня беречь.

– Саша!

Но он не стал говорить и ушел в сад, на узенькую дорожку в снегу, которую прочистил сам; и ходил до самых синих сумерек раннего зимнего заката. Если бы он заплакал, знала бы, как поступить, чтобы утишить детское горе, но страдание молчаливое и сдержанное делало ее бессильною и пугало: слишком много чувствовалось в нем непонятной мужской силы. «Говорит такое, а сам и не волнуется как будто», – подумала Елена Петровна про Сашины жуткие глаза. Но когда подошла к зеркалу, чтобы оправиться, как по женской своей привычке делала после каждого сильного волнения, то увидела, что и она по внешности совсем спокойна и даже незачем оправляться. Долго смотрела Елена Петровна на свое отражение и многое успела передумать: о муже, которого она до сих пор не простила, о вечном страхе за Са-

шу и о том, что будет завтра; но, о чем бы ни думала она и как бы ни колотилось сердце, строгое лицо оставалось спокойным, как глубокая вода в предвечерний сумрак. Отходя, она провела рукой по гладким волосам и решила: «Это у нас характер такой... что ж, я очень рада».

Тяжелый и опасный разговор не возобновлялся по тайному соглашению матери и сына, а вскоре Елена Петровна и совсем позабыла о холодной и странной вспышке. К тому времени с Дальнего Востока потянуло первым холодом настоящих поражений, и стало неприятно думать о войне, в которой нет ни ясного смысла, ни радости побед, и с лёгкостью бессознательного предательства городок вернулся к прежнему миру и сладкой тишине. Успокоились и городские дети, и хотя по-прежнему играли в войну, но охотнее именовали себя японцами; но увлекались японцами и взрослые, ставили в пример их отношение к смерти и даже маленький рост.

Как-то вечером, уже в первых числах марта, разразилась последняя свирепая метель, и голый сад загудел напряженно и страстно; казалось, будто весь он поднялся на воздух и летит стремительно, звеня крылами и тяжело вздыхая обнаженной грудью. Мамы не было дома, она ушла еще после обеда куда-то в гости, и Линочка рисовала, когда в тихую комнатку ее тихо вошел Саша и сел у стола, в зеленой тени абажура. Та же зеленая тень крыла и Линочкино лицо, делая его худее и воздушней; а короткие пальчики, ярко освещенные и одни как будто живые, проворно и ловко работали

карандашом и резинкой. На Сашу она не взглянула, так как привыкла к таким посещениям, и только через минуту сказала, не поднимая глаз от рисунка:

– Теперь в лесу волки.

– Что-то не хочется читать, – сказал Саша. – У тебя в комнате теплее, а у меня снег бьет прямо в окна.

– Ну и сиди, грейся.

Замолчали. Саша слушал, как в звоне и гуле улетает сад; и странно было, что сквозь его мощный рев пробивается тихое, уютное поскрипывание карандаша по бумаге – странно и приятно.

– Лина!

– Ну?

– Ты любишь называть меня греченочком. Пожалуйста, не называй меня так, я не хочу быть похожим на грека.

– Да родной же мой Сашечка...

Крепко потерла резинкой и продолжала:

– Да родной же мой Сашечка! – отчего не называть? Греки бывают разные. Ты думаешь, только такие, которые небритые и с кораллами... а Мильтиад, например? Это очень хорошо, я сам, я сама хотела бы быть похожей на Мильтиада.

– Нет, я не хочу. Я хочу быть похожим на русского.

– Ну как хочешь! Русский так русский.

Снова помолчали. Саша сказал:

– Байрон был великий поэт. Он умер, сражаясь за свободу греков.

– Я знаю, – ответила Линочка, хотя в первый раз услышала, что Байрон умер за свободу. – Не мешай, Сашечка, а то навру.

– А она похожа на гречанку.

– Мама?

Вопрос был нов и интересен, и Линочка положила карандаш. Оба, нахмурившись, смотрели друг на друга, вспоминая, что видели греческого, но только и могли вспомнить, что гимназическую гипсовую Минерву с крутым подбородком и толстыми губами.

– Нет, не похожа! – решила Линочка, вздыхая от натуги.

Саша улыбнулся в своей зеленой тени:

– А я знаю, на кого она похожа. Сказать? Она похожа на одну бабу с базара, которая продает селедки, такая закутанная в платок.

– Ну вот глупости, нашел с кем сравнить! Мама такая... – Линочка искала слова, но не нашла, – такая... барыня.

– Нет, правда. Я не могу тебе объяснить, но она ужасно, ужасно похожа! Особенно, когда никто не покупает и она сидит так, сложив руки, и совсем не шевелится, а из-под платка такие ужасно огромные глаза. Ты не думай, я ее уважаю.

– погоди, не мешай, я припоминаю.

Линочка совсем спрятала глаза в брови и полураскрыла рот; и вдруг задохнулась и зловещим шепотом сказала:

– Сашенька! Я нашла!

И все более таинственным шепотом, округлив глаза, шеп-

тала:

– В нашей церкви... знаешь? – есть на левой стороне картина... знаешь? – и там нарисована одна святая, и ну вот! Она похожа на икону!

– Правда? – поверил Саша.

– Нет, ты подумай, как это страшно: на икону!

Оба испугались. Мама, обыкновенная мама, такой живой человек, которого только сейчас нет дома, но вот-вот он придет, – и вдруг похожа на икону! Что же это значит? И вдруг она совсем и не придет: заблудится ночью, потеряет дом, пропадет в этом ужасном снегу и будет одна звать: – Саша! Линочка! Дети!..

– Куда ты, Саша?

– Встречать маму.

– Иди, иди! Какой ветер!

– Она сказала, что пойдет к Добровым.

– А калоши?

– Я без калош.

В прихожей не было огня, и в окно смотрела вечно чуждая людям, вечно страшная ночь.

– Где моя тужурка?

– Вот. Я держу. Иди, иди!

После этого страшного вечера, закончившегося, однако, совсем благополучно: Елена Петровна уже подъезжала к дому на извозчике и встретила Сашу у самой калитки, – связь между детьми и матерью как будто еще окрепла, а в обра-

щении Саши появлялась особая мягкость, сдержанная нежность и какое-то своеобразное джентльменство. Словно в этот именно вечер, сознав себя взрослым, Саша по-мужски услуживал матери, провожал ее по вечерам и уже пробовал, насилуя свой рост, вести ее под руку. Но делал он это с таким достоинством, что не пришло в голову улыбнуться ни Линочке, ничего неестественного не заметившей, ни самой Елене Петровне. Ходил Саша тайно от Линочки и в церковь, где была картина, и нашел, что сестра права: какое-то сходство существовало; но он не долго думал над этим, порешив с прямолинейностью чистого ребенка: «Все матери святые». Но то, что всегда знала мать: боязнь утраты – почувствовал и Саша, узнал муку любви, томительность безысходного ожидания, всю крепость кровных уз... Ибо суждено ему было теми, кто жил до него, поднять на свои молодые плечи все человеческое, глубиною страдания осветить жестокую тьму. Только те жертвы принимает жизнь, что идут от сердца чистого и печального, плодоносно взрыхленного тяжелым плугом страдания.

Так жили они, трое, по виду спокойно и радостно, и сами верили в свою радость; к детям ходило много молодого народу, и все любили квартиру с ее красотой. Некоторые, кажется, только потому и ходили, что очень красиво – какие-то скучные, угреватые подростки, весь вечер молча сидевшие в углу. За это над ними подсмеивался и Саша, хотя в разговоре с матерью уверял, что это очень умные и в своем месте

даже разговорчивые ребята.

– Чего же они тогда молчат? – негодовала Елена Петровна, имевшая, как и Линочка, среди гимназистов своих врагов и друзей.

– Не знаю, бояться, что ли! Ты не сердись на них, мама. Они говорят, что только у нас и видят настоящую жизнь.

– Врут! – определяла Линочка, – Тимохин даже танцевать не умеет, я ему предложила, а он смотрит на меня, как бык с рогами.

– Тимохин один у нас во всем классе сам учится английскому языку, почти уже выучился, – сказал Саша.

– Какой англичанин!

Но Елена Петровна уже примиряла:

– Конечно, это хорошо, но только как же он с произношением?.. И совсем не надо всем танцевать, а ведь можно же спорить, как другие... Впрочем, не знаю, ты их лучше знаешь, Сашенька!

И в следующий раз усиленно любезничала с нелюбимцами, а те от этого крепче замолкали, и она снова негодовала и жаловалась. Но это были пустяки, а, в общем, все дети были так хороши, что хотелось только глядеть на них из уголка и радоваться. И тем особенно были они хороши, что не было ни одного лучше Саши: пусть и поют и поражают остроумием, а Саша молчит; а как только заспорят, сейчас же каждый тянет Сашу на свою сторону: ты согласен со мною, Погодин? И с кем Погодин согласился, тот считает спор окончанным и

только фыркает – точно за Сашиним тихим голосом звучат еще тысячи незримых голосов и утверждают истину.

Но этому свойству Сашиного голоса удивлялась и не одна Елена Петровна; и только сам он, кажется, ничего не подзревало.

5. СНЫ

...Но откуда эта тайная тоска, когда все так хорошо и жизнь прекрасна! Не радуется ли утро дню и день вечеру? – и не всегда ли плывут облака, и не всегда ли светит солнце и плещется вода? Вдруг среди веселой игры, беспричинного смеха, живого движения светлых мыслей – тяжелый вздох, смертельная усталость души. Тело молодо и юношески крепко, а душа скорбит, душа устала, душа молит об отдыхе, еще не отведав работы. Чьим же трудом она потрудилась? Чьею усталостью она утомилась? Томительные зовы, нежные призывы звучат непрестанно; зовет глубина и ширь, открыла вещи глаза свои пустыня и молит: Саша! Линочка! Дети! Или спит Саша крепко, и этот ночной гул мощных деревьев навевает ему сны о вечной усталости, о вечной жизни и беспредельной широте?

Открывает глаза и видит в светлеющее окно: машут ветви, и это они гонят в комнату тьму, и от самой постели тьма и от самой постели Россия.

Но зачем так ярки сны? Видит Елена Петровна, будто ночью забеспокоилась она о Саше и в темноте, босая, пошла к нему в комнату и увидела, что смятая постель пуста и уже охолодала. Подогнулись ноги, села на постель и тихо позвала:

– Саша!

И откуда-то издалека Саша ответил:

– Мама!

Позвала еще:

– Иди сюда, ко мне... Саша!

Но уже не было ответа на этот зов.

Проснулась Елена Петровна и видит, что это был сон и что она у себя на постели, а в светлеющее окно машут ветви, нагоняют тьму. В беспокойстве, однако, поднялась и действительно пошла к Саше, но от двери уже услышала его тихое дыхание и вернулась. А во все окна, мимо которых она проходила, босая, машут ветви и словно нагоняют тьму! «Нет, в городе лучше», – подумала про свой дом Елена Петровна.

6. Трудное время

Но уже наступило страшное для матерей, пришло незаметно, стало тихо, оперлось крепко о землю своими чугунными ногами. Кто думает, отрывая ежедневно листки календаря, что время идет? Красная кровь уже хлынула с Востока на Россию, вернулась к родным местам, малыми потоками разлилась по полям и городам, оросила родную землю для жатвы грядущего. Было спокойно, и вдруг стало беспокойно; и кто из живущих мог бы назвать тот день, тот час, ту минуту, когда кончилось одно и наступило другое? Когда пришла кровь? Что было раньше, а что было позже? И было ли?

Когда это было, что Саша вернулся домой в четыре часа ночи и перепугал Елену Петровну своим видом – до убийства министра или после? И в этот ли именно раз напугал ее своим видом, или в другой, похожий, или совсем непохожий? Нет, в этот. Нет, в другой. Это было уже тогда, когда начались казни... а когда начались казни? До именин Линочки, когда пили почему-то шампанское, и Елена Петровна пила, и все пели, и было так весело, что и вспомнить трудно, – или после? Нет, конечно, раньше, тогда, когда к ним еще все ходили, и дети по вечерам бывали дома, и Саша вслух читал «Видение Валтасара»:

Падут твердыни Вавилона,

Неотразим судьбы удар...

Но дома ли читал Саша байроновские стихи или же на вечеринке? Да, кажется, на какой-то вечеринке или вообще в гостях; и ему еще много аплодировали.

А когда к ним перестали ходить, – когда был этот ужасный вечер, эта несчастная суббота, в которую никто не явился? Выскочивший из связи времен – как ярко помнится этот вечер со всеми его маленькими подробностями, вплоть до лампы, которая чуть-чуть не начала коптить.

Уже пробило девять, а никто не являлся, хотя обычно гимназисты собирались к восьми, а то и раньше, и Саша сидел в своей комнате, и Линочка... где была Линочка? – да где-то тут же. Уже и самовар подали во второй раз, и все за тем же пустым столом кипел он, когда Елена Петровна пошла в комнату к сыну и удивленно спросила:

– Что же это значит, Саша? Никого еще нет.

Саша положил брошюрку – да, это была брошюрка в красной обложке! – и как будто совсем равнодушно ответил:

– Они, вероятно, и не придут.

– Вероятно?

– Нет, наверное. Сегодня собрание у Тимохина.

– А почему же не у нас? Я ничего не понимаю... и ты меня даже не предупредил!

И вдруг у нее мелькнула тяжелая и обидная догадка, и сухо она спросила:

– Может быть, впрочем, я вам мешаю? Тогда мне все понятно. Но почему же ты не идешь к Тимохину? Иди, еще не поздно.

– Не огорчайся, мама. И не то, чтобы ты так уже мешала, это пустяки, но они говорят, что у нас слишком уж красиво.

– Нельзя окурки на пол бросать?

И Саша строго, – да, именно строго, – ответил:

– Да. Нельзя окурки на пол бросать.

– Тимохин же все равно бросает на пол!

Саша неприятно улыбнулся и, ничего не ответив, заложил руки в карманы и стал ходить по комнате, то пропадая в тени, то весь выходя на свет; и серая куртка была у него наверху расстегнута, открывая кусочек белой рубашки – вольность, которой раньше он не позволял себе даже один. Елена Петровна и сама понимала, что говорит глупости, но уж очень ей обидно было за второй самовар; подобралась и, проведя рукой по гладким волосам, спокойно села на Сашин стул.

– Я говорю глупости, – сказала она и даже улыбнулась. – В чем же дело? Объясни мне, Саша!

– Ты не знаешь, я не умею говорить, но приблизительно так они, то есть я думаю. Это твоя красота, – он повел плечом в сторону тех комнат, – она очень хороша, и я очень уважаю в тебе эти стремления; да мне и самому прежде нравилось, но она хороша только пока, до настоящего дела, до настоящей жизни... Понимаешь? Теперь же она неприятна и даже мешает. Мне, конечно, ничего, я привык, а им трудно.

– Красота никогда не может помешать.

– Да, может быть, какая-нибудь другая красота и не помешает, но эта... Я не хочу тебя обидеть, мамочка, но мне все это кажется лишним, – ну вот зачем у меня на столе вот этот нож с необыкновенной ручкой, когда можно разрезать самым простым ножом. И даже удобнее: этот цепляется. Или эта твоя чистота – я уж давно хотел поговорить с тобою, это что-то ужасное, сколько она берет времени! Ты подумай...

Но Елена Петровна даже уж и не удивилась, когда в свою очередь попала и чистота; только смотрела, как краснеет у Саши лицо, и некстати подумала: «А начинают-таки виться волосы, я всегда ждала этого».

– Нет, ты только подумай! Проснувшись, я прежде всего чищу зубы, уже привык, не могу без этого...

– Зато у тебя прекрасные зубы и нет ни одного порченого!

– Когда-нибудь все равно вывалятся! Считай: три, а то и пять минут.

– Да зачем тебе так нужно время?

– Нет, погоди! Потом я занимаюсь гимнастикой – как же, привык! – вот тебе еще пятнадцать – двадцать минут. Потом я обмываюсь холодной водой и докрасна – непременно докрасна! – растираю свое благородное тело. Потом...

И выходило так по его словам, что весь день он только и делает, что чистит себя. Но тут пришла Линочка, и разговор пошел уже втроем, и Линочка тоже на что-то жаловалась, кажется, на свои таланты, которые отнимают у нее много вре-

мени.

– Да на что вам время? – все изумлялась Елена Петровна, а те двое говорили свое, а потом пошли вместе пить чай, и был очень веселый вечер втроем, так как Елена Петровна неожиданно для себя уступила красоту, а те ей немного пожертвовали чистотой. И то, что она так легко рассталась с красотой, о которой мечтала, которой служила, которую считала первым законом жизни, было, пожалуй, самое удивительное во весь этот веселый вечер. И в этот же вечер, а может быть, и в другой такой же веселый и легко разрушительный вечер, она позволила Линочке бросить зачем-то уроки рисования, не то музыки... Когда была брошена музыка?

Когда перестали дети ходить в церковь?

Когда было раньше, а когда было позже? Выскакивают дни без связи, а порядок утерян – точно рассыпал кто-то интересную книгу по листам и страничкам, и то с конца читаешь, то с середины. Когда это было, что они с Сашей смотрели, как по базару гонят бородатых запасных и ревут бабы с детьми, и Елена Петровна плакала и куда-то рвалась, а Саша дергал ее за руку и говорил плачущим голосом: мамочка, не надо! Что не надо? Конечно, это было еще до манифеста, а вместе с тем совершенно рядом с этим днем, как продолжение его, выскакивает вечер у того самого угреватого Тимохина, англичанина, жаркая комнатка, окурки на полу и подоконниках, и сама она не то в качестве почетной гостьи, не то татарина. Но одно несомненно, что времени между этими

двумя случаями не меньше двух, или даже трех лет, а вспоминается и чувствуется рядом.

Вообще, когда она стала ходить, как девочка, по митингам и собраниям, и ее любезно проводили в первые ряды? Даже в газету раз попала, и репортер придавал ее появлению на митинге очень большое значение, одобрял ее и называл «генеральша Н.». Тогда же по поводу заметки очень смеялись над нею дети.

Однажды звал к себе директор гимназии и заявил, что Саша исключен за какие-то беспорядки, а потом оказалось, что Саша не исключен и оставался в гимназии до самого своего добровольного ухода, – когда это было? Или это не директор звал, а начальница женской гимназии, и речь шла о Личночке, – во всяком случае, и к начальнице она ездила объясняться, это она помнила наверное.

И когда в ихнем городе появились на улицах казаки? И когда произошел первый террористический акт: был убит жандармский ротмистр? Нет, еще раньше был убит городской, а еще, кажется, раньше околоточный надзиратель, и на торжественных похоронах его черная сотня избивала на полусмерть двух гимназистов, и Елена Петровна думала, что один из изувеченных – Саша. И когда она начала бояться этой черной сотни – до ужаса, до неистовых ночных кошмаров?

Когда приделан железный засов к двери?

7. Отец

Но вот это, к сожалению, Елена Петровна помнит ясно, знает даже день: четвертое декабря, за шесть месяцев до ухода Саши.

Утром за чаем – они еще пили чай! – Саша прочел в газете фамилию нового губернатора, который только недавно к ним был назначен и уже повесил трех человек, и Елене Петровне вдруг что-то вспомнилось:

– Телепнев... Телепнев... Постой, Саша, я что-то припоминаю. Ну-ка, а как инициалы? П. С.? Ну да: Петр Семенович, папин товарищ! Ты подумай, Сашенька, этот Телепнев, наш губернатор, был лучший папин товарищ, вместе учились...

– Да?

– Да как же! А я и забыла – стареется твоя мать, Саша. Как же это я забыла: ведь друзья были!

Задумчиво, с тем выражением, которое бывает у припоминающих далекое, она смотрит на Сашу, но Саша молчит и читает газету. Обе руки его на газете, и в одной руке папироса, которую он медленными и редкими движениями подносит ко рту, как настоящий взрослый человек, который курит. Но плохо еще умеет он курить: пепла не стряхивает и газету и скатерть около руки засыпал... или задумался и не замечает?

Осторожным движением, чтобы не помешать, Елена Петровна пододвигает пепельницу и, забыв о Телепневе, вдруг поражается тем, что Саша задумался, как поражается всем, что свидетельствует об его особой от нее, самостоятельной, человеческой, взрослой жизни. Иногда это смешит ее самое. вдруг поразится, что Саша читает, или что он, как мужчина, поднял одной рукой тяжелое кресло и переставил, или что он подойдет к плевательнице в углу и плюнет, или что к нему обращаются с отчеством: Александр Николаевич, и он отвечает, нисколько не удивляясь, потому что и сам считает себя Александром Николаевичем.

Александр Николаевич!..

Но теперь к обычному удивлению матери, не могущей привыкнуть к отделению и самостоятельности ее плода, при-мешивается нечто новое, очень интересное и важное: как будто до сих пор она рассматривала его по частям, а теперь увидела сразу всего: Боже ты мой, да он ли это, – где же прежний Саша?

Этому скоро исполнится девятнадцать лет, он высок, – это видно, даже когда он сидит, – правда, немного худ и юноше-ски узковата грудь, но смуглое лицо крепко и свежо; и в чет-ко и красиво изогнутых губах, твердом подбородке чувству-ется сила и даже властность: эка, даже властность! Все так же жутко обведены глаза и даже на газету опущенные смотрят строго, но как это непохоже на прежнюю усталость взгляда, где-то в себе самом черпавшего вечную тревогу! Как будто

давно не видала Саши: припоминает Елена Петровна его теперешний взгляд – да, этот смотрит смело и красиво, и разве только чуть-чуть тяжело, когда надолго остановится, забудет перевести глаза.

И как приятно, что нет усов и не скоро будут: так противны мальчишки с усами, вроде того гимназиста, кажется, Кузьмичева, Сашиного товарища, который ростом всего в аршин, а усы как у французского капрала! Пусть бы и всегда не было усов, а только эта жаркая смуглота над губами, чуть-чуть погуще, чем на остальном лице.

«Не надо говорить ему, что он красив», – думает Елена Петровна и поспешно опускает глаза. Недолгое молчание – и точно силою заставляет их вновь подняться холодный и хмурый вопрос:

– А он у нас и в доме бывал?

Елена Петровна уже догадывается о значении вопроса, и сердце у нее падает; но оттого, что сердце пало, строгое лицо становится еще строже и спокойнее, и в темных, почти без блеска, обведенных византийских глазах появляется выражение гордости. Она спокойно проводит рукой по гладким волосам и говорит коротко, без той бабьей чистосердечной болтливости, с которой только что разговаривала:

– Да, бывал. Он часто бывал у папы.

– И вы были ему рады?

– Генерал любил его. Хочешь еще чаю?

– Спасибо, – говорит Саша и еще раз повторяет: – Спаси-

бо! Ну, а скажи, как ты думаешь, ты хорошо знала генерала... – Губы Саши кривятся в веселую, не к случаю, улыбку. – Ведь наш генерал-то был бы теперь, пожалуй, губернатором и тоже бы вешал... Как ты думаешь, мама?

Прошел длинный, мучительный день, а ночью Елена Петровна пришла в кофточке к Саше, разбудила его и рассказала все о своей жизни с генералом – о первом материнстве своем, о горькой обиде, о слезах своих и муке женского бессильного и гордого одиночества, доселе никем еще не разделенного. При первых же ее серьезных словах Саша быстро сел на постели, послушал еще минуту и решительно и ласково сказал:

– Выйди, мамочка, на минуту, я сейчас оденусь.

И помнит же она эти несколько минут! За дверью, в щель которой вдруг пробилась острая полоска света, – скрипела постель, стукнула уроненная ботинка, звякала чашка умывальника: видно было, что Саша торопливо и быстро одевается; а она, готовясь и ожидая, тихо скользила по темной комнате и беззвучно шептала, заламывая руки:

«Пойми меня, Саша! Пойми меня, Саша!» И все ходила и сама не слышала себя, серая в темноте, бесшумная, плененная, – как насмерть испуганная ночная птица.

– Нет, нет! Бога ради, потуши свечку! – взмолилась она, тихо позванная Сашей; и вначале все путала, плакала, пила воду, расплескивая ее в темноте, а когда Саша опять зажег-таки свечу, Елена Петровна подобралась, пригладила во-

лосы и совсем хорошо, твердо, ничего не пропуская, по порядку рассказала сыну все то, чего он до сих пор не знал. И когда Саша, слушавший очень внимательно, подошел к ней в середине рассказа и горячей рукой несколько раз быстро и решительно провел по гладким, еще черным волосам, она сделала вид, что не понимает этой ласки, для которой еще не наступило время, отстранила руку и, улыбнувшись, спросила: «Что, растрепалась?» И сделала вид, будто сама поправляет не нуждающиеся в этом волосы. Но, кончив рассказ, перед страшным выводом из него: что до сих пор она не простила мужа и не может простить, – запнулась, глотнула воздух и выжидательно, в страхе, замолчала.

Молчал и Саша, обдумывая. Поразил его рассказ матери; и то, что мать, всегда так строго и даже чопорно одетая, была теперь в беленькой, скромной ночной кофточке, придавало рассказу особый смысл и значительность – о самой настоящей жизни шло дело. Провел рукой по волосам, расправляя мысли, и сказал:

– Ну что ж, мамочка: так, так так! И не скажу даже, чтобы все это очень меня удивило, что-то такое я чувствовал уже давно. Да, генерал... Лине, пожалуй, пока не говори, потом как-нибудь расскажешь.

– Хорошо. Саша, Сашенька... Ну, а как же отец?

– Генерал? Генерал умер.

– Не называй его так.

– Это правда. Отец? Отец, да... Ты боишься сказать, что

не простила его, не можешь простить?

Елена Петровна утвердительно кивнула головой; и в висках стукнули набегающие слезы.

– Я люблю его.

– А простить – нет?

Елена Петровна мотнула головой: нет! Набегали горячие слезы, и она не мигала, не мешала глазам наливаться, пока не наполнились они; и уже перелилось, потекло по щеке, защекотало – и точно просветлела комната, оделась искристым туманом и трогательно заколыхалась. Саша что-то говорил, мелькал в тумане.

Плохо доходили до сознания слова, да и не нужны они были: другого искало измученное сердце – того, что в голо-се, а не в словах, в поцелуе, а не в решениях и выводах. И, придавая слову «поцелуй» огромное во всю жизнь значение, смысл и страшный и искупительный, она спросила твердым, как ей казалось, голосом, таким, как нужно:

– Можно поцеловать тебя, Сашенька?

И в ожидании, полном страха, закрыла мокрые от слез глаза. Что было потом?

То, о чем надо всегда плакать, вспоминая. Царь, награждающий царствами и думающий, что он только улыбнулся; блаженное существо, светлейший властелин, думающий, что он только поцеловал, а вместо того дающий бессмертную радость, – о, глупый Саша! Каждый день готова я терпеть муки рождения, чтобы только видеть, как ты вот ходишь и гово-

ришь что-то невыносимо-серьезное, а я не слушаю! Не слушаю!

– Говори, говори, Сашечка!

– Да ты не слушаешь, мама? Я тебя спрашиваю, а ты...

– Говори, говори, Сашечка!

Ну и пусть довел до комнаты, как пьяную: да и пьяна же я материнской радостью моею!

Вот еще чего не знала о той ночи Елена Петровна.

Когда мать уснула, Саша вернулся в комнату и разделся, чтобы спать, но не мог забыться даже на минуту и все курил и думал. Ему казалось, что он теперь разгадал что-то в своей судьбе, но он никак не мог точно и ясно определить угаданное и только твердил: «Ну, конечно, ну, конечно, так! Теперь все ясно». И образ покойного отца, точно с умыслом во всей неприкосновенности сбереженный памятью до этого дня, впервые предстал его сознанию и поразил его своею как бы чуждостью, а вместе чем-то и своим. Увидел ясно в каждом волоске его четырехугольную широкую бороду и плешину среди русых и мягких волос, крутые, туго обтянутые плечи; почувствовал жесткое прикосновение погона, не то ласковое, не то угрожающее – и вдруг только теперь осознал ту тяжесть, что, начинаясь от детства, всю жизнь давила его мысли.

Да, это он, отец – этот важный, порою ласковый, порою холодно-угрюмый, мрачно-свирепый человек, занимающий так много места на земле, называемый «генерал Погодин» и

имеющий высокую грудь, всю в орденах. И такие же высокие в орденах груди у его друзей или подчиненных: кланяются, звякая шпорами, блестят золотом шитья, точно поднимают потолки в комнатах и раздвигают стены, – в мрачном великолепии и важности застыла холодная пустота. Гулки, как во сне, шаги отца: за много комнат слышно, как он идет, приближается, грузно давит скользкий, сухо поскрипывающий паркет; далеко слышен и голос его – громкий без натуги, сипловатый от водки, бухающий бас: будто не слова, а кирпичи роняет на землю. Это отец, да.

А у денщика Тимошки рожа испитая и часто в синяках; и такие же рожи у других, постоянно меняющихся денщиков – почему рожи, а не лица? Нет, это нельзя назвать лицом, и это не слезы – то, что с любовью и странным удовольствием размазывает Тимошка по скуластым щекам своим. И память ли обманывает, или так это и было: однажды сам Саша своим тогдашним маленьким кулаком ударил Тимошку по лицу, и что-то страшно любопытное, теперь забытое, было в этом ударе и ожидании: что будет потом? А старый облезлый кот, повешенный денщиками за сараем? А лошадь, которая боится отца, и косит на него глазом, и широко расставляет ноги, как раздавленная, когда отец, пошатнув ее, становится в стремя, а потом грузно опускается в седло? Сильна мать, что так долго боролась с отцом и победила его, но почему же и она и дети замолкают, когда издали слышатся гулкие приближающиеся шаги и вдруг, точно от предчувствия идущей

щей тяжести, тихонько скрипнет паркет в этой комнате? И этот жест Елены Петровны: торопливое и ненужное приглаживание волос, начался как раз оттуда, от этих минут ожидания, когда уже заранее поскрипывал паркет.

И она сказала, что любит его – не прощает и любит. И это возможно? И как, какими словами назвать то чувство к отцу, которое сейчас испытывает сын его, Саша Погодин, – любовь? – ненависть и гнев? – запоздалая жажда мести и восстания и кровавого бунта? Ах, если бы теперь встретиться с ним... не может ли Телепнев заменить его, ведь они друзьями были!

Однажды на смотре, на каком-то маленьком, не особенно важном смотре был и Саша с матерью, и генерал, бывший на лошади, посадил Сашу к себе. И когда оторвался он от земли чьими-то руками, а потом увидел перед самыми глазами толстую, вздрагивающую, подвижную шею лошади, а позади себя почувствовал знакомую тяжесть, услышал хриплое дыхание, поскрипывание ремней и твердого сукна – ему стало так страшно обоих, и отца и лошади, что он закричал и забился. И чем крепче сжимала его рука невидимого человека, тем сильнее он бился, и кто-то снял его. На земле он сразу перестал плакать и увидел выпуклые, серые, орлиные, теперь яростные глаза отца, который, низко свесившись с лошади, кричал на него:

– Трус-мальчишка! Дрянь! Стыдно! Трус-мальчишка!

А тяжелая, как отец, страшная лошадь топталась оброс-

шими волосатыми ногами, косила глазом и тоже фыркала: трус-мальчишка, трус!

«Это ему было стыдно за меня перед солдатами! – думал Саша, стискивая зубы. – Нет, ваше превосходительство, я не трус, я нечто другое, ваше превосходительство, и вы это узнаете! Ваша кровь в моих жилах, и рука моя, пожалуй, не менее тяжела, чем ваша, и вы узнаете... Впрочем, спокойной ночи, ваше превосходительство!»

Потом Саша думал, уже засыпая:

«Можно отречься от отца? Глупо: кто же я тогда буду, если отрекусь! – ведь я же русский. А в гимназию-то я не пошел, хоть и русский. Вообще русским свойственно... что свойственно русским? Ах, Боже мой – да что же русским свойственно? Встаньте, Погодин!»

И, уже совсем засыпая, Саша увидел призрачно и смутно: как он, Саша, отрекается от отца. Много народу в церкви, нарочно собрались, и священник в черных великопостных одеждах, и Саша стоит на коленях и говорит: «...Не лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя...» Хор запел: – Аминь!

И так страшен был его рев, что Саша очнулся и увидел, что за окнами уже светло, а во рту у него потухшая папироса. Вынул папиросу и крепко, без сновидений, уснул.

8. Бесталанные

Это было в марте, в воскресенье.

Был уже двенадцатый час, когда некто Колесников подходил к дому, где жили Погодины. «Ну и улица!» – думал он, прыгая из одного сухого протоптанного гнезда в другое и подолгу отыскивая камни, брошенные добрыми людьми для перехода и неуловимо темневшие среди нестерпимого блеска воды, жидкой грязи и островков искристого снега. Шел он против солнца, и каждая лужица, каждая налитая колея горела, как окаянная. «Ну и дом!» – подумал он огорченно, когда в отворенную калитку вместо двора увидел целое озеро весенней воды; и в этом озере, как в настоящем, отражались деревья, белый низенький домик и крыльцо. На крыльце стояла барышня, глядела на Колесникова и тоже отражалась в воде. «Вот и барышня стоит и смотрит – как неловко! А Погодина-то, может быть, и дома нет, ну да уж все равно пропадать».

– Что же вы стоите? – крикнула барышня. – Вы к Саше? Идите налево около забора, там дорожка. Да левее же, еще, да еще же!

Покорно забирая влево, Колесников увидел, что на крыльцо вышла худая, красивая, немолодая барыня и тоже смотрит на него, и так было неловко от одной барышни, а тут еще и эта. Но все-таки дошел и даже поклонился, а то все боялся,

что забудет.

– Погодин, гимназист, здесь живет?

– Здесь, я его мать. Вы к Саше по делу? Он сейчас только встал, пьет чай.

– Нет, почему же по делу? Я его знакомый, Колесников.

– Знакомый? Очень рада. Пожалуйста!

Слова были любезные, а в голосе открыто звучало недоверие и тревога, и глаза слишком разглядывали. «Ну что ж я поделаю, – покорно подумал Колесников, уже привыкший слышать эту тревогу в голосе всех матерей, – я ничего поделать не могу: тревожишься, ну и тревожься». А Елена Петровна рассматривала его и думала: «Вот и еще знакомый!.. Разве такие знакомые бывают. И калоши текут, и борода, как у разбойника, только детей пугать; а если его обрить, то, пожалуй, и добряк, – только он сам никогда об этом не догадается. Ох, Господи, все они добряки, а мне от этого не легче!»

– Мама! – сказала Линочка, знавшая мысли матери и не одобрявшая их. – Надо же показать, куда идти. Сюда идите... Саша, к тебе знакомый.

Но и Саша как будто удивился при виде черной бороды, желтых скул и шершавой вихрастой головы, и даже слегка нахмурился: заметно было, что видит он Колесникова чуть ли не в первый раз. Однако было в круглых, черных, также как будто удивленных глазах посетителя что-то примиряющее с ним, давно и хорошо знакомое: только взглянул, а словно всю жизнь свою рассказал и ждет вечной дружбы.

– У вас тут, того-этого, совсем Венеция, – сказал Колесников глухим басом и, поискав лица, с улыбкой остановил круглые глаза на Линочке, – только гондолы-то у меня текут, вон как, того-этого, наследил!

Линочка с упреком взглянула на мать: видишь, какой он! – и ответила:

– Мы с Сашей, когда были маленькие, каждую весну плавали ко двору на плотах.

– Пойдемте ко мне, – сказал Саша, вставая.

Елена Петровна с жалостью к Саше взглянула на недоенный хлеб и сурово промолвила:

– Ты лучше, Саша, чай бы допил. Я и гостю налью.

– Нет, не хочу. Или дай к нам в комнату два стакана.

После столовой в комнате у Саши можно было ослепнуть от солнца. На столе прозрачно светлела хрустальная чернильница и бросала на стену два радужных зайчика; и удивительно было, что свет так силен, а в комнате тихо, и за окном тихо, и голые ветви висят неподвижно. Колесников заморгал и сказал с какой-то особой, ему понятной значительностью:

– Весна!

Саша спокойно молчал; и молча передвинул в тень чернильницу, и зайчики погасли.

– Ваша мама меня боится, а сестра нет, – сказал Колесников и снова со вздохом повторил, – весна!

– Мы с вами где-нибудь встречались? Я что-то плохо помню.

– Как же, разок встретились. Только там, того-этого, были другие не знакомые вам люди, и вы меня не заприметили. А я заприметил хорошо. Жалко вот, что мамаша ваша меня боится, да чего ж поделаешь! Теперь не такое время, чтобы разбирать.

Саша слегка покраснел:

– Где же это было? Я не помню.

– Там! – ответил Колесников, придвигая стакан чаю. – Вы, того-этого, предложили убить нашего Телепнева, а наши-то взяли и отказались. Я тогда же из комитета и вышел: «Ну вас, говорю, к черту, дураки! Как же так не разобрать, какой человек может, говорю, а какой не может?» Только они это врали, они просто трусили.

Лицо Саши потемнело:

– Мне неприятно об этом вспоминать. Но я очень рад, что вы ко мне пришли, теперь я вас помню. Пейте, пожалуйста, чай.

– Меня зовут Василий Васильевич, – сказал Колесников, – я уж два раза, если вам интересно, из ссылки бегал. Только вот беда, того-этого, не оратор я, и талантов у меня нет никаких.

– У меня тоже нет талантов, – сказал Саша и впервые с улыбкой поднял на Колесникова свои жуткие, но теперь улыбающиеся глаза.

И как с первого раза знакомился своими глазами Колесников, так своими с первого раза и навсегда убеждал Пого-

дин; так и теперь сразу и навсегда убедил он только что пришедшего в чем-то радостном и необыкновенно важном. Заерзав на стуле, Колесников в широкой улыбке открыл черные, но крепкие зубы и пробасил:

– Вот удивили вы меня! А чьи ж это картинки на стене? Неужто не ваши?

– Нет, сестры.

– Сестры? Молодец сестра!

Но сразу же нахмурился и с искренним огорчением произнес:

– Экое горе, того-этого, какие мы с вами бесталанные! Только вы, я думаю, ошибаетесь, нельзя этого допустить, чтобы у вас не было таланта. Может, не обнаружился еще? Это часто бывает с молодыми людьми. Таланты-то ведь бывают разные, того-этого, не только что карандашиком или пером водить.

– Никакого. Я и говорить не умею.

– Вот удивляете вы меня! Но погодите, еще откроется! Да, того-этого, еще откроется!

Колесников вдруг заволновался и заходил по комнате; и так как ноги у него были длинные, а комната маленькая, то мог он делать всего четыре шага. Но это не смущало его, видимо, привык человек вертеться в маленьком помещении.

– Боже ты мой! – гудел он взволнованно и мрачно, подавляя Сашу и несуразной фигурой своей, истово шагающей на четырех шагах, и выражением какого-то доподлинного дав-

нишнего горя. – Боже ты мой, да как же могу я этому поверить! Что не рисует да языком не треплет, так у него и талантов нет. Того-этого, – вздор, милостивый государь, преподлейший вздор! Талант у него в каждой черте выражен, даже смотреть больно, а он: «Нет, это сестра! Нет, мамаша!» Ну и мамаша, ну и сестра, ну и вздор, преподлейший вздор!

Саше уже тяжело становилось, когда Колесников внезапно стих, сделал еще два оборота по комнате и сел, сказав совершенно спокойно:

– Чай-то уж остыл. И ни разу это у меня не бывало, чтобы я попал на настоящий чай: то горяч, а то уж и остыл.

– Давайте стакан, я принесу горячего.

– Чего там, и этот хорош, это я так, к слову. Вот что, товарищ, денек-то сегодня славный! Пойдемте за кирпичные сараи пострелять из браунинга. Я и браунинг принес.

– У меня свой есть, – сказал Саша и вынул из стола никелированный, чистенький, уже заряженный револьвер.

У Колесникова браунинг оказался черный, и оба долго и с интересом разглядывали оружие, и Колесников вздохнул.

– Да! – сказал он со вздохом, – времена крутые. У меня знакомая одна была, хорошо из браунинга стреляла, да не в прок ей пошло. Лучше б никогда и в руки не брала.

– Повешена?

– Нет, так. Зарубили. Ну, того-этого, идем, Погодин. Вы небось по голосу думаете, что я петь умею? И петь я не умею, хотя в молодости дурак один меня учил, думал, дурак, что

сокровище открыл! В хоре-то, пожалуй, подтягивать могу, да в хоре и лягушка поет.

Овраги и овражки были полны водою, и до кирпичных сараев едва добрались; и особенно трудно было Колесникову: он раза два терял калоши, промочил ноги, и его серые, не новые брюки до самых колен темнели от воды и грязи.

– Славные у вас сапоги! – сказал он Саше и сам себя спросил: – Отчего я и себе, того-этого, таких не куплю? Не знаю.

Простором и тишиною встретило их поле; весенним теплом дымилась голубая даль, воздушно млели в млечной синеве далекие леса. В безветрии начавшийся, крепко стоял погожий день, обещая ясный вечер и звездную, с морозцем, ночь. Было так празднично все, что и стрельба из револьверов казалась праздничной, веселой забавой, невинным удовольствием. Для цели Саша выломал в гнилой крыше заброшенного сарая неширокую, уже высохшую доску и наклеил кусочек белой бумаги; и сперва стреляли на двадцать пять шагов. Из трех пуль Колесников всадил две, одну возле самой бумажки, и был очень доволен.

– Не всякий может, – сказал он внушительно; и, расставив длинные ноги и раскрыв от удовольствия рот, критически уставился на Сашу. И с легким опасением заметил, что тот немного побледнел и как-то медленно переложил револьвер из левой руки в правую: точно лип к руке холодный и тяжелый, сверкнувший под солнцем браунинг: «Волнуется юноша, – думает, что в Телепнева стреляет. Но руку держит хо-

рошо».

Однако все три пули всадил побледневший Саша, и две из них в самый центр. Колесников загудел от удовольствия, а он, все еще бледный, но, видимо, чрезвычайно довольный, переложил липнувший револьвер в левую руку и сказал:

– Да, я хорошо стреляю. Попробуем на сорок шагов?

– Попробуйте вы. Я, того-этого, и патронов тратить не хочу.

Все же, когда цель перенесли, сделал один выстрел и промазал, а Саша и в этот раз попал – две пули, одна возле другой.

– И это не талант? – воодушевился Колесников, – подите вы, Погодин, к черту! Да с этим талантом, того-этого, целый роман написать можно.

– А они вот отказались, – сухо промолвил Саша, намекая на комитет. – Посидим, Василий Васильевич, здесь очень хорошо!

Выбрали сухое местечко, желтую прошлогоднюю траву, разостлали пальто и сели; и долго сидели молча, парясь на солнце, лаская глазами тихую даль, слушая звон невидимых ручьев. Саша курил.

– Ручьи текут, а мне, того-этого, кажется, будто это слезы народные, – сказал Колесников наставительно и вздохнул.

И Саше, ждавшему ответа относительно Телепнева, не понравились и наставительность эта, и напыщенность фразы, и самый вздох. Молчал и, уже скучая, ждал, что скажет даль-

ше. Вдруг Колесников засмеялся:

– Смотрю на вас, Александр Николаевич, и все удивляюсь, какой вы, того-этого, корректный! Не знай я вас так хорошо, так хоть домой иди, ей-Богу!

– А откуда ж вы меня так хорошо знаете?

– Не знал бы, так и не пришел бы, – уже серьезно сказал Колесников. – Но вот что вы мне скажите: почему вы избрали Телепнева? Не такая уж он птица, чтобы из-за него вешаться. Так и у нас говорили... в вас-то они не очень уж сомневались.

Саша вдруг смутился.

– Телепнева? – нерешительно переспросил он. – Я думаю, основания ясны. Впрочем... у меня были и свои соображения. Да, свои соображения, личные...

И, уже забыв о Колесникове, он сразу всей мыслью отдался тому странному, тяжелому и, казалось, совсем ненужному, что давило его последние месяцы: размышлению об отце-генерале. Тогда, после разговора с матерью, он порешил, что именно теперь, узнав все, он по-настоящему похоронил отца; и так оно и было в первые дни. Но прошло еще время, и вдруг оказалось, что уже давно и крепко и до нестерпимости властно его душою владеет покойный отец, и чем дальше, тем крепче; и то, что казалось смертью, явилось душе и памяти, как чудесное воскресение, начало новой таинственной жизни. Все забытое – вспомнилось; все разбросанное по закоулкам памяти, рассеянное в годах – собралось в единый

образ, подавляющий громадностью и важностью своею. И теперь, в смутном сквозь грезу видении обнаженного поля, в волнистости озаренных холмов, вблизи таких простых и ясных, а дальше к горизонту смыкавшихся в вечную неразгаданность дали, в млечной синеве поджидающего леса, – ему почудились знакомые теперь и властные черты. И как было все это время: острая, как нож, ненависть столкнулась с чем-то невыносимо похожим на любовь, вспыхнул свет сокровеннейшего понимания, загорелись и побежали вдаль кроваво-праздничные огни. Вдруг, не поднимая глаз, Саша спросил Колесникова:

– Вы русский?

Колесников, разглядывавший Сашу с таким вниманием, что оно было бы оскорбительно, замечай его Саша, не сразу ответил:

– Русский. Не в этом важность, того-этого.

– У меня мать гречанка.

– Что ж!.. И это хорошо.

– Почему хорошо?

– Хорошая кровь. Кровь, того-этого, многих мучеников.

Саша ласково взглянул в его черные глаза и подумал:

«Вот же чудак, при таком лице носит велосипедную фуражку. Но милый». Вслух же сказал:

– Байрон умер за свободу греков.

– Ну и вздор! Кто, того-этого, нуждается в свободе, тому незачем ходить в чужие края. И где это, скажите, так много

своей свободы, что уж больше не надо? И вообще, того-этого, мне совсем не нравится, что вы сказали про Телепнева, про какие-то личные ваши соображения. Личные! – преподлейший вздор.

Колесников взволнованно заходил и, хотя места было много, по-прежнему кружился на своих четырех шагах; и при каждом шаге громко, видимо, раздражая его, хлюпали калоши.

– Вот я, видите? – гудел он в высоте, как телеграфный столб. – Весь тут. Никто меня, того-этого, не обидел, и жены моей не обидел – нет же у меня жены! И невесты не обидел, и нет у меня ничего личного. У меня на руке, вот на этой, того-этого, кровь есть, так мог бы я ее пролить, имей я личное? Вздор! От одной совести сдох бы, того-этого, от одних угрызений.

Быстро подошел к Саше и, наклонившись, с высоты, сердито замахал на него пальцем:

– Эй, юноша, того-этого, не баламуть! Раз имеешь личное, то живи по закону, а недоволен, так жди нового! Убийство, скажу тебе по опыту, дело страшное, и только тот имеет на него право, у кого нет личного. Только тот, того-этого, и выдержать его может. Ежели ты не чист, как агнец, так отступись, юноша! По человечеству, того-этого, прошу!

Уже исступленное что-то загоралось в его остановившихся глазах; и вдруг Колесников закричал полным голосом, как в бреду:

– Хочешь, на колени стану? Хочешь, мальчишка, на колени стану? Отступись!

– Нет! – сказал Саша, быстро вставая и рукой отстранив Колесникова, бледный и строгий. – Вы напрасно кричите, вы меня не поняли. У меня не было и нет личного ничего. Слышите вы, ничего!

Колесников угрюмо извинился:

– Извините, Погодин. Такие времена, что, того и гляди, в сумасшедший дом попадешь, того-этого.

Но уже через десять минут, когда они возвращались домой, Колесников весело шутил по поводу своих гондол; и слово за словом, среди шуток и скачков через лужи, рассказал свою мытарственную жизнь в ее «паспортной части», как он выражался. По образованию ветеринар, был он и статистиком, служил на железной дороге, полгода редактировал какой-то журнальчик, за который издатель и до сих пор сидит в тюрьме. И теперь он служит в местном железнодорожном управлении.

– А кто был ваш отец? – спросил Саша.

– Отец-то? Вопрос не легкий. Род наш, Колесниковых, знаменитый и древний, по одной дороге с Рюриком идет, и в гербе у нас колесо и лапоть, того-этого. Но, по историческому недоразумению, дедушка с бабушкой наши были крепостными, а отец в городе лавку и трактир открыл, блеск рода, того-этого, восстанавливает. И герб у нас теперь такой: на зеленом бильярдном поле наклоненная бутылка с девизом:

«Свидания друзей»...

– Он жив?

– Опасаюсь. И ежели не сдох, так в союзе председателем, – человек он честолюбивый и глубокомысленный. Он меня, того-этого, потому и в ветеринары отдал, что скота всегда лучше чувствовал, нежели человека. Ну, и братья у меня – тоже, того-этого, сволочь удивительная!

– Зачем вы так говорите! – поежился Саша.

– А что – густо? Из песни, того-этого, слова не выкинешь. Да они ж меня давно и похоронили: по некоему приговору, к счастью для моей шеи – не совершившемуся, меня давно уж повесили, – добродушно заключил Колесников.

Сбивал он Сашу своими переходами от волнения к покою, от грубости, даже как будто цинизма, к мягкому добродушию, чуть ли не ребячьей наивности; и – что редко бывало с внимательным Сашей – не мог он твердо определить свое отношение к новому знакомцу: то чуть ли не противен, а то нравится, вызывает в сердце что-то теплое, пожалуй, немного грустное, напоминает кого-то милого. Трогало и то, что после своей странной, почти болезненной вспышки Колесников смирился и не только как равный с равным говорил с Сашей, хотя на целых двадцать лет был старше, но даже как будто преклонялся, каждое слово слушал с необыкновенным вниманием и чуть ли не с почтительностью.

Проводил он Сашу до самого дома и уже у калитки – точно именно у порога дома, когда люди расстаются и уходят к

своим мыслям, и нужно было бросить этот мостик – посмотрел Саше в глаза и спросил:

– Газету читали?

– Нет, не успел.

– Шестнадцать повешено. Ну, до свиданья, Погодин. А стреляете-то вы чудесно, мне от вашего таланта, того-этого, даже жутко стало; не наследственное это у вас?

Саша опять было нахмурился, но увидел открытые, наивные глаза, с любопытством глядевшие на него, и засмеялся:

– Нет, не думаю. Я мало что наследовал от отца. Впрочем... я его не помню, он умер восемь лет назад. Прощайте.

Так состоялось их знакомство. И, глядя вслед удалявшемуся Колесникову, менее всего думал и ожидал Саша, что вот этот чужой человек, озабоченно попрыгивающий через лужи, вытеснит из его жизни и сестру и мать, и самого его поставит на грань нечеловеческого ужаса. И, глядя на тихое весеннее небо, голубевшее в лужах и стеклах домов, менее всего думал он о судьбе, приходившей к нему, и о том, что будущей весны ему уж не видать.

9. Весна

Во весь этот день Саша был чрезвычайно весел; после обеда взял газету, уже прочитанную домашними, но взглянул на заголовок, поймал глазами слово «шестнадцать»... и отложил в сторону: не надо почему-то читать, не следует. А вечером, когда высыпали звезды и зазвенел под ногами ледок, взял Линочку под руку и пошел на Банную гору, откуда днем открывался широкий вид на разлившуюся реку. И дорогой ломал такого дурака, что Линочка хохотала, как от щекотки: представлял, как ходит разбитый параличом генерал, делал вид, что Линочка – барышня, любящая танцы, а он – ее безумный поклонник, прижимал руки к сердцу и говорил высокопарные глупости. Брат и сестра, они невинно и смешно играли в любовь, не подозревая в себе актеров, которые шутя готовятся к завтрашнему трагическому спектаклю, не зная, сколько правды в их веселой игре.

Совсем развеселился Саша: изображая крайности безумного, не помнящего себя влюбленного, он раскачивал ее по всей панели, и уже раза два на них оглянулись прохожие, не то с улыбкой, не то сердито; и Линочка захлебывалась бесильным смехом:

- Да родной же мой Сашечка! Ой, не могу!.. Ой, колики!
- А-а-а, толстая! – рычал он от зверской любви. – Полюбишь ты меня или нет? Сознавайся, пресловутая!

– Сашка, оставь... ой, упаду!

И кончилось тем, что столкнул ее в незамерзшую лужу, и Линочка промочила правую ногу и минуты на две серьезно рассердилась. Но тотчас же и отошла, вскинула глаза к звездам и сказала:

– Держи меня крепче, Саша: я так буду идти.

Казалось, что бледные звезды плывут ей навстречу, и воздух, которым она дышит глубоко, идет к ней из тех синих, прозрачно-тающих глубин, где бесконечность переходит в сияющий праздник бессмертия; и уже начинала кружиться голова. Линочка опустила голову, скользнув глазами по желтому уличному фонарю, ласково покосилась на Сашу и со вздохом промолвила:

– Ах, Сашечка, если б ты всегда был такой!

– А что? Ухаживателей не хватает?

Линочка кротко ответила:

– Ты говоришь глупости. Про тебя вчера Женя Эгмонт опять спрашивала.

Саша в темноте покраснел и сердито сказал:

– Я уже просил тебя про Эгмонт мне не передавать.

– Я знаю. Я и говорю: если бы ты всегда был такой, как сегодня. Тебе скоро девятнадцать лет, Сашенька.

– Это мамины слова?

– А если и мамины? – упрямо сказала сестра. – Мама знает, что говорит.

– Ну и я знаю! Вот что, Лина: бросим-ка это, я не хочу

сегодня ссориться.

Как-то так случилось, что за последнее время они несколько раз серьезно поссорились, и каждый раз настоящая причина оставалась неизвестна, хотя начинался разговор с Сашиного характера: с упреков, что в чем-то он изменился, стал не такой, как прежде. А он ясно сознавал, что перемена не в нем, а именно в Линочке, которую потянуло в сторону от прежнего пути. Какие-то разговоры о пустяках; с месяц назад Линочка вдруг яростно схватилась за рисование, которое давно бросила, и все жаловалась, даже плакала, что отвыкшая рука не слушается ее. И не с одной Линочкой он начал ссориться: то же было и в гимназии, и так же неясна оставалась настоящая причина, – по виду все было, как и прежде, а уже веяло чем-то раздражающим, и в разговорах незаметно воцарялся пустяк. Еще только вчера, в субботу, Громан рассказал на перемене скверный анекдот, и все смеялись; правда, что потом Громана жестоко изругали, и он, жидкий немец, чуть ли не в слезах дал клятву, что пошlostей рассказывать не будет, но факт остался: в первую минуту смеялись. «Разорвусь, а аттестат получу! – подумал Саша, вдруг снова очаровываясь ночью и весной, – там в университете будет по-другому».

На Банной горе, как и днем, толпился праздничный народ, хотя в темноте только и видно было, что спокойные огоньки на противоположной слободской стороне; внизу, под горой, горели фонари, и уже растапливалась на понедельник

баня: то ли пар, то ли белый дым светился над фонарями и пропадал в темноте. В толпе заволновались: пробежал первый в году маленький, неизвестно чей катер, показал красный огонь, потом зеленый, и бесшумно скатился в темень реки – маленький, неизвестно чей, такой бодрый и веселый в своем бесцельном ночном скитании. На горке закричали:

– Пароход! Пароход!

По женскому смеху и бубнящему голосу Тимохина разыскали свою компанию, гимназистов и гимназисток, заседавших на скамейке и на перилах, за которыми темнел крутой обрыв и точно падали в реку голые еще деревья.

– Свалишься, Тимохин, слезь! – уговаривал кто-то, а Тимохин, видимо, хмельной, самостоятельно бубнил:

– Оставь! Я, брат, в равновесии собаку съел. Хочешь, по гипотенузе пройду?

Вот и это: стал запивать честный, молчаливый, когда-то застенчивый, угреватый Тимохин, приобрел развязность и склонность к шутовству: над ним смеются, а он доволен и усиленно выставляется. «Эх, напрасно я сюда пошел!» – подумал Саша и снова покраснел: ему многозначительно жала руку молчаливая, сдержанная, тревожная в своем молчании и красоте Женя Эгмонт.

К гимназисткам, подругам Линочки, и ко всем женщинам Саша относился с невыносимой почтительностью, замораживавшей самых смелых и болтливых: язык не поворачивался, когда он низко кланялся или торжественно предлагал

руку и смотрел так, будто сейчас он начнет служить обедню или заговорит стихами; и хотя почти каждый вечер он провожал домой то одну, то другую, но так и не нашел до сих пор, о чем можно с ними говорить так, чтобы не оскорбить, как-нибудь не нарушить неловким словом того чудесного, зачарованного сна, в котором живут они. Так, бывало, и молчат всю дорогу и торжественно шагают; и разве только почтительно предупредит:

– Осторожнее, пожалуйста: здесь выворочены камни!

Мучением была эта дорога; и особенно трудно доставалась Женя Эгмонт, задумчивая Женя Эгмонт, прекрасная Женя Эгмонт, стройная и певучая, как нильская тростинка. После первого же раза, когда они промолчали всю дорогу, Саша решительно сказал сестре:

– Если хочешь, чтобы я ее провожал, ходи вместе с нами.

Линочка попылила, но согласилась на условие, и так втроем они и ходили: Линочка болтала, а те двое торжественно шествовали под руку и молчали, как убитые; а что Женя Эгмонт временами как будто прижимала руку, то это могло и казаться, – так легко было прикосновение твердой и теплой сквозь кофточку руки. Но каждый раз сердце у Саши выпадало из груди и ноги совсем переставали чувствовать мостовую: попадись по дороге камень, Саша упал бы. И в жутком чувстве забвения он плыл по воздуху, по воздуху же неся твердую и теплую сквозь кофточку руку.

Поздоровавшись, Женя Эгмонт спросила:

– Сейчас прошел пароходик. Вы видели?

– Да, видел, – ответил Саша и вдруг поднялся на воздух.

Робко вскинул он свои жуткие глаза обреченного, и навстречу ему из-под полей шляпы робко метнулось что-то черное, светлое, родное, необыкновенное, прекрасное – глаза, должно быть? И уже сквозь эти необыкновенные глаза увидел он весеннюю ночь – и поразился до тихой молитвы в сердце ее чудесной красотой. Но подошел пьяный Тимохин и отвел его в сторону:

– На два слова, Саша. Саша, товарищ!.. Не осуждай меня за пьянство. Они не понимают, а ты все можешь понять и простить, Саша!

Отвел еще на два шага и таинственно забурчал, дыша водкой в самое лицо:

– Слушай: все силы революции разбиты. Это я только тебе по секрету: все силы революции разбиты.

– Брось пить, противно.

– Саша! ты чистый, ты этого не поймешь. Читал сегодня газету?.. Ну то-то, тсс! Молчи! Ты веришь Добровольскому, я знаю, – не верь, Саша. Клянусь! Все они подлецы, я их тонко постиг и взвесил. Послушай меня, Саша, товарищ: иди в монастырь, как Офелия, а я знаю свою дорогу.

Надо было тут же уйти, но Саша остался; и нарочно сел так, чтобы не могла подойти Женя Эгмонт. Слушал вполслуха разговор, раза три уловил слово «порнография», звучащее еще молодо и свежо. Остановил внимание громкий го-

лос Добровольского:

– Нет, вы скажите, почему у русской революции только и есть похоронный марш? Поэтов у нас столько, что не перевешать, и все первоклассные, а ни одна скотина не догадалась сочинить свою русскую марсельезу! Почему мы должны довольствоваться обедками со стола Европы или тянуть свою безграмотную панихиду?

Из темноты предостерегающе пробубнил Тимохин:

– Саша! Слышишь? Еще сапог не износила, в которых шла за гробом мужа вся в слезах, как Ниобея...

– Башмаков, Тимоша, а не сапог.

– Сам ты, Тимоша, сапог!

– Ну-ка, Тимоша: быть или не быть!

– Слышишь, Саша?

Но смех смолк. От реки потянуло холодом, и несколько минут все сидели молча. На въезде около бань кто-то невидимый тушил фонари, из трех оставляя гореть один; зачернели провалы. Женский голос спросил:

– Читали газеты?

– Да. Шестнадцать.

После короткого молчания кто-то сказал молодым басом, как бы заканчивая цепь размышлений:

– Да, ребята, придется нам сесть за учебу!

Некоторые засмеялись, Тимохин снова трагически пробубнил: «Слышишь, Саша?» – и кто-то назвал его за это Касандрой и начался какой-то спор, – но Саша уже быстро шел

по обезлюдевшей горке, накидывая шаг, словно за ним гнались, и с каждой минутой одиночества чувствуя себя все лучше. И опять что-то чудесное померещилось в весенней ночи, и глаза потянуло к звездам, как давеча у Линочки; но вспомнился Колесников, и радость тихо погасла, а шаги стали медленнее и тяжелее. «Надо будет о нем разузнать, – подумал Саша и прибавил: – Нет, ни ему и никому другому в мире про Женю Эгмонт я не расскажу».

Елена Петровна удивилась, что Саша вернулся один, и ее иконописные глаза вечной матери с тревогой устремились на сына:

– А Лина? Уж не поссорились ли вы опять?

– Да нет, мама, – улыбнулся Саша и нежно поцеловал еще черную голову матери. – Ее проводят, не беспокойся. Почему ты не допускаешь, что мне захотелось побыть с тобой вдвоем? Ведь мы же влюбленные!

Темное лицо Елены Петровны осветилось:

– Правда?

– Да. Дай чаю, мамочка.

Уже от порога она, обернувшись, спросила:

– Этот, ну, Колесников – ничего плохого не сказал тебе?

– Только хорошее. Он чудак.

Линочка долго не возвращалась, и после чая Саша попросил мать сыграть ему «тренди-бренди». Краснея и все чему-то не веря, она села за рояль и сперва стеснялась, что у нее тугие и непослушные пальцы, но уже вскоре, к своему

удивлению, вся целиком отдалась наивной трогательности звуков. Нет имени у того чувства, с каким поет мать колыбельную песню – легче ее молитву передать словами: сквозь самое сердце протянулись струны, и звучит оно, как драгоценнейший инструмент, благословляет крепко, целует нежно. Раз через плечо бросила взгляд на Сашу и увидела: сидит, опустив голову на ладони рук, и слушает и думает – родной сын Саша.

Когда прощались, Саша поднял на мать глаза и спросил: – Мама! Неужели у тебя нет ни одного портрета отца? Подумай: я ни разу не видал его.

Елена Петровна молча посмотрела на него. Молча пошла к себе в комнату – и молча подала большой фотографический портрет: туго и немо, как изваянный, смотрел с карточки человек, называемый «генерал Погодин» и отец. Как утюгом, загладил ретушер морщины на лице, и оттого на плоскости еще выпуклее и тупее казались властные глаза, а на квадратной груди, обрезанной погонами, рядами лежали ордена.

10. Колесников

На другой день Саша навел справки о Колесникове, и вот что узнал он: Колесников действительно был членом комитета и боевой организации, но с месяц назад вышел из партии по каким-то очень неясным причинам, до сих пор не разъясненным. Одни говорили, что виноват Колесников, уже давно начавший склоняться к большим крайностям, и партия сама предложила ему выйти; другие обвиняли партию в бездеятельности и дрязгах, о Колесникове же говорили, как о человеке огромной энергии, имеющем боевое прошлое и действительно приговоренном к смертной казни за убийство Н-ского губернатора: Колесникову удалось бежать из самого здания суда, и в свое время это отчаянно-смелое бегство вызвало разговоры по всей России. Рассказывали также, что Колесников – участник того знаменитого случая, когда трое революционеров почти десять часов отстреливались от полиции и войск, окруживших дом, и кончили тем, что все трое бежали из подожженного дома.

«Ну и фигура! – думал очень довольный Саша, вспоминая длинные ноги, велосипедную шапочку и круглые наивные глаза нового знакомого, – я ведь предположил, что он не из важных, а он вот какой!» В одном, наиболее осведомленном месте к Колесникову отнесли резко отрицательно, даже с явной враждебностью, и упомянули о каком-то чрез-

вычайно широко, но безумном и даже нелепом плане, который он предложил комитету; в чем, однако, заключался план, говоривший не знал, а может быть, и не хотел говорить. О том же плане и так же смутно, недоумевая, рассказал Саше присяжный поверенный Ш., сам не принадлежавший ни к какой партии, но бывший в дружбе и постоянных сношениях чуть ли не со всей подпольной Россией.

– Не знаю, не знаю, Господь с ним! – торопливо говорил Ш. и пальцами, которые у него постоянно дрожали, как у сильно пьющего или вконец измотанного человека, расправлял какие-то бумажки на столе. – Вероятно, что-нибудь этакое кошмарное, в духе, так сказать, времени. Но и то надо сказать, что Василий Васильевич последнее время в состоянии... прямо-таки отчаянном. Наши комитетчики...

Ш. улыбнулся и, скрывая улыбку, потер дрожащими пальцами свой длинный, утинообразный нос.

– Наши боевики... люди местные, мирные и, так сказать, уже отдали дань. Вы слышали, Александр Николаевич, что на днях из комитета вышли еще двое?

– Я мало осведомлен, – сказал Саша и покраснел.

– Да, да, ну, конечно! Да это и не важно, этого уже давно следовало ожидать. А скажите, Александр Николаевич, зачем собственно...

Но в эту минуту в прихожей раздался звонок, и уже пожилой, плешивый, наполовину седой адвокат вздрогнул так сильно, что Саше стало жалко его и неловко. И хотя был при-

емный час и по голосу прислуги слышно было, что это пришел клиент, Ш. на цыпочках подкрался к двери и долго прислушивался; потом, неискусно притворяясь, что ему понадобилась книга, постоял у книжного богатого шкапа и медленно вернулся на свое место. И пальцы у него дрожали сильнее.

– Ужасные времена! – сказал он, точно оправдываясь перед юношей. – Да, так что я хотел вас спросить? Кажется...

– О Колесникове – зачем мне понадобились справки, – предупредил Саша, с тоскою глядя на дрожащие, бледные пальцы с синеватыми шлифованными ногтями. – Меня просто заинтересовал этот человек.

– Да, да, ну, конечно, он человек интересный. Я, собственно, и не желаю вмешиваться... – Он виновато опустил глаза и вдруг решительно сказал: – Я хочу только предупредить вас, Александр Николаевич, что во имя, так сказать, дружбы с Еленой Петровной и всей вашей милой семьей – будьте с ним осторожны! Он человек, безусловно, честный, но... увлекающийся.

И уже у двери, провожая Сашу, он сказал:

– Странное явление: я уже два месяца не имею известий от моего Франца. Положим, и вся ваша братия, студенты – ведь вы почти уже студент! – неохотно пишут родителям, но сегодня вдруг получаю обратно денежный перевод. Придется, пожалуй, самому отвезти, а? – Он неестественно засмеялся и закашлялся. И, откашлявшись, с хрипотою в голосе уже серьезно прошептал: – Да, все силы революции разбиты.

Несколько дней Саша напрасно поджидал Колесникова – сам идти не хотел, хотя узнал и адрес – и уже решил, что встреча и разговор их были чистою случайностью, когда на пятый день, вечером, показалась велосипедная шапочка. Выяснилось, что от промоченных ног Колесников простудился и два дня совсем не выходил из дома. К огорчению Саши, ни о своем загадочном плане и ни о чем важном и интимном Колесников говорить не стал, а вел себя как самый обыкновенный знакомый: расспрашивал Погодина о гимназии и подшучивал над гимназистами, которые недавно сели в лужу с неудавшейся забастовкой. Под конец даже заскучал и откровенно зевнул. «Успокою маму!» – подумал Саша и предложил ему пойти пить чай в столовую. Колесников оживился.

– С удовольствием, того-этого. Я и сам хотел попроситься, да знаю, как у вас в семье строго насчет знакомств. С удовольствием, с удовольствием!

«И откуда он все знает?» – нахмурился Саша и с некоторой тревогой повел гостя в столовую. Но с первых же слов, с неловкого, но почтительного поклона и вопроса о здоровье Елены Петровны гость повел себя так просто и даже душевно, как будто век был знаком и был лучшим другом семьи. Станным было то любопытство, с которым он оглядывал квартиру: не только в гостиной изучил каждую картинку, а для некоторых лазил даже на стул, но попросил показать все комнаты, забрел в кухню и заглянул в комнату при-

слуги. Впрочем, и все, первый раз бывавшие у Погодиных, также любопытствовали; и было неприятно только то, что свой инспекторский осмотр Колесников мог заключить какой-нибудь нетактичной фразой и даже упреком – бывало и это в последние года. И у всех отлегло от сердца, когда, вернувшись в столовую и берясь за охолодавший чай, Колесников решительно и твердо заявил:

– Хорошо, того-этого, чудесно! Молодец вы, Елена Петровна. А это что? – шкап! То-то в вашей комнате и книг мало, а они здесь. Ну-ка, ну-ка! Посмотрим, того-этого.

И со свечкой полез смотреть книги, а Елена Петровна и Линочка переглянулись с улыбкой.

– Так, так! – гудел он, – всегда надо знать, что люди читают. Здорово, того-этого. Ого! – а вы и по-французски читаете?

– Читаю, – ответил Саша.

– Вот что значит хорошее-то воспитание! Искренно завидую. А я пробовал в тюрьме учить итальянский...

– Почему итальянский? – улыбнулась Елена Петровна.

– Не знаю, того-этого, посоветовали, да все равно не выучил. Пока учу, ничего, как будто идет, а начну думать, так, батюшки мои: русские-то слова все итальянские и вышибли. Искал я, кроме того, как по-итальянски «того-этого», да так и не нашел, а без «того-этого» какой же, того-этого, разговор?

Все засмеялись, а Саша смотрел на мать, на ее темные, без

блеска, теперь повеселевшие глаза, и думал: «А если бы ты знала про энского губернатора, смеялась бы ты?»»

И то понравилось, что за ужином Колесников плотно покушал: Елена Петровна боялась людей, которые мало едят; и то было приятно, что он обратил внимание на Линочкины таланты и после ужина попросил ее поиграть на рояле.

– Ну, а меня извините, – сказал Саша, – я пойду займусь.

– А как же музыка, того-этого?

– Я ее не слышу. Говорил же я вам, Василий Васильевич, что у меня нет талантов.

Елена Петровна недовольно заметила:

– Зачем так говорить, Саша? Я не люблю, когда ты даешь о себе неверное представление.

И музыку Колесников слушал внимательно, хотя в его внимании было больше почтительности, чем настоящего восторга; а потом подсел к Елене Петровне и завел с нею продолжительный разговор о Саше. Уже и Линочка, зевая, ушла к себе, а из полутемной гостиной все неся гудящий бас Колесникова и тихий повествующий голос матери.

– Да, трудно с детьми, – скромничала Елена Петровна, а глаза у нее светились, и в красной тени шелкового абажура лицо казалось молодым и прекрасным.

– Хороший мальчик! – убежденно гудел Колесников. – Главное, того-этого, чистый.

– Да, уж такой чистый! – вздохнула Елена Петровна. – Ах, если бы вы знали, Василий Васильевич!

И замолчала, задумавшись о муже. Колесников быстро, искоса взглянул на нее, но сейчас же сделал равнодушное лицо и даже засвистал потихоньку. Слышно было, как в своей комнатке ходит Саша. Еще раз искоса Колесников взглянул на задумавшуюся мать и почувствовал, что думы ее надолго, и внимательно начал оглядывать незнакомую квартиру. И, взгляни на него в эту минуту Елена Петровна, она поразила и, пожалуй, испугалась бы того вида оценщика, с каким гость как бы вторыми гвоздями прибивал к стене своим взглядом каждую картинку, каждую, расшитую ее руками, портьеру. «А папашиного портрета нет», – подумал Колесников и улыбнулся в бороду. Вдруг Елена Петровна, продолжая что-то свое, спросила:

– Вы видели его глаза?

Колесников несколько замялся.

– Хорошие глаза, того-этого.

– Нет, – а выражение?.. Ну да что, Василий Васильевич: видно, вам никогда не приходилось разговаривать с матерью, а то знали бы, что мать не переслушаешь. Ого, уже час, а Сашенька еще не спит. Учится, – улыбнулась она, – как он не скрытничает, а знаю я, до чего ему хочется в университет!

И с этого вечера, о котором впоследствии без ужаса не могла вспомнить Елена Петровна, началось нечто странное: Колесников стал чуть ли не ежедневным гостем, приходил и днем, в праздники, сидел и целые вечера; и по тому, как мало придавал он значения отсутствию Саши, казалось, что

и ходит он совсем не для него. Первое время Елена Петровна была очень довольна, но уже скоро стала задумываться и тревожиться; и тревожило ее все то же ненасытимое любопытство, с каким Колесников продолжал присматриваться к вещам и людям. «И чего он высматривает? И чего он ищет?» – волновалась Елена Петровна, и однажды пожаловалась даже Линочке.

– Ах, да мало ли кто к нам ходит, мамочка. Ты только вспомни, сколько у нас опять народу бывает.

– Народу бывает много! Но только почему он все спрашивает о Саше, а приходит тогда, когда Сашеньки и дома нет. Мне это не нравится.

– Очень просто: потому что Саша самый интересный человек. Вот и Женя Эгмонт...

– Бедная Женя!

– Бедная Женя.

Обе они улыбнулись, и в улыбке сестры было столько же гордости, как и в улыбке матери. Бедная Женя Эгмонт! Но хоть и засмеялась Линочка, а сама почувствовала беспокойство и также с тревогой начала приглядываться к Колесникову, – но, сколько ни глядела, ничего понять не могла. И временами успокаивалась, а минутами в прозрении сердца ощущала столь сильную тревогу, что к горлу поднимался крик – то ли о немедленном ответе, то ли о немедленной помощи. А Елена Петровна со стыдом и раскаянием думала о своем грехе: этому незнакомому и в конце концов подозрительно-

му человеку, Колесникову, она рассказала о том, чего не знала и родная дочь – о своей жизни с генералом.

Смущало и то, что Колесников, человек, видимо, с большим революционным прошлым, не только не любил говорить о революции, но явно избегал всякого о ней напоминания. В то же время, по случайно оброненным словам, заметно было, что Колесников не только деятель, но и историк всех революционных движений – кажется, не было самого ничтожного факта, самого маленького имени, которые не были бы доподлинно, чуть ли не из первых рук ему известны. И раз только Колесников всех поразил.

Саша был дома, и все сидели в столовой, когда зашла речь о каком-то провокаторе, только что объявленном газетами. Елена Петровна кончала брезгливую фразу, когда Колесников вдруг вскочил и завертелся на четырех шагах.

– Как это можно? Как это можно? – неистово загудел он, как придорожный в поле столб, на который с размаху налетел бурный ветер. – Боже ты мой, какое, того-этого, наказание, глазам ведь смотреть стыдно. Какое наказание! А оттого, что народ забыли, руки не чисты, что все бабники, того-этого, сластены, приходы делят! А что такое революция? Кровь же народная, за нее ответ надо дать – да какой же ты ответ дашь, если ты не чист? Какой же в тебе, того-этого, смысл! Жизнью жертвуешь, да? А жандарм не жертвует? А сыщик не жертвует? А любой дурак на автомобиле не жертвует?

Саша хмуро смотрел вниз и вздрогнул, когда голос загу-

дел прямо над его головою:

– Нет, ты будь чист, как агнец! Как стеклышко, чтобы насквозь, того-этого, светилось! Не на гульбище идешь, а на жертву, на подвиг, того-этого, мученический, и должен же ты каждому открыто, без стыда, взглянуть в глаза!

Саша поднял глаза; и твердо приняли эти жуткие, обведенные самой смертью глаза суровый и жестокий взгляд круглых, почти безумно горящих глаз Колесникова. И уже говоря прямо в чистую глубину юношеского взора, забыв о побледневшей Елене Петровне, он исступленно продолжал:

– Дай мне чистого человека, и я с ним на разбой пойду...

– Ох, Господи! – даже вскрикнула Елена Петровна и замахала руками. – Молчите вы – молчите!

– Да, на разбой, и самый разбой, того-этого, его чистотой освящу. Из кабака церковь сделаю, вот как, того-этого! А с пьяным попом и церковь – кабак!

– Да замолчите же вы! – задохнулась Елена Петровна. – Поймите, поймите же вы, сумасшедший же вы человек, что и дела, дела должны быть чисты!

Стихший Колесников угрюмо покосился на нее своим лошадиным глазом и проворчал:

– Дела? А дела, того-этого, кто же делает? Люди же. Вздор! Ну да ладно, увлекся, я человек увлекающийся, того-этого. Только вы меня извините, Елена Петровна, а мое мнение такое, что только на чистой крови вырастают цветы... будь бы я поэт, стихи бы на эту тему написал. Да что

стихи! Вот вы засмеетесь, а я вам под видом шутки такие слова скажу: если террорист не повешен, так он, того-этого, только половину дела совершил, да и то худшую. Убить-то и дурак может, да и вообще дураку убивать сподручнее. Верно, Александр Николаевич?

Но тут удивил всех Саша. Вдруг громко рассмеялся и, подойдя к Колесникову, положил как будто нерешительным движением руку на его плечо. И, ласково глядя в суровые, еще не потухшие глаза, так же нерешительно сказал:

– Василий Васильевич!..

– Ну?

Глаза светились все ласковее и насмешливее, и что-то потерянное, одинокое, давно ждущее ласки испуганно метнулось в ответном взоре Колесникова.

– Василий Васильевич! А чай-то ваш опять остыл!

Елена Петровна укоризненно качнула головой, не зная, как принять Сашину выходку; Колесников же с обиженным, как ей показалось, видом встал и несколько раз прошелся по комнате.

– Ну ладно: остыл, так и пить, того-этого, не стоит. Прощайте, пойду в свою одиночку.

И вдруг, чего не бывало никогда, неловко поцеловал руку у Елены Петровны; и пока она так же неловко искала губами его лоб среди колючих шершавых волос, тихо буркнул:

– За сына!

И что ей еще показалось: будто черные, круглые, еще

недавно такие свирепые глаза были влажны от слезы. «А я в Сашеньке усомнилась, – подумала она благодарно, – нет, никогда мне, глупой, его не оценить».

– Я вас провожу, Василий Васильевич! – предложил Саша. – Вы ничего не имеете против?

– Пожалуйста. Буду рад.

В передней Елена Петровна хотела спросить сына, когда он вернется, но не решилась и вместо того заботливо сказала:

– А ты в весеннем пальто, Саша. Не было бы холодно.

– Ночь теплая. Одну минутку, Василий Васильевич, папиросу забыл.

Уже одевшийся Колесников стоял боком к выходной двери и, опустив голову, молча ждал. Что-то спросила Елена Петровна, но он не ответил, не слышал, должно быть; и так же молча, не оборачиваясь, вышел, как только показался Саша.

Все это было беспокойно, и до часу Елена Петровна не ложилась, поджидала сына; потом долго молилась перед иконой Божьей Матери Утоли Моя Печали и хотела уснуть, но не могла: вспоминался разговор и с каждой минутой пугал все больше. «Говорит, что теплая ночь, а как деревья шумят. Не могу я привыкнуть к ихнему шуму, и все кажется: идет что-то страшное. Это тогда меня черная сотня напугала. Какое время, Богородица, какое время! И как это можно, чтобы сын Саша один бродил где-то в темноте, один в темноте, – а деревья шумят...»

Уже сквозь тяжелую дрему услышала Сашины шаги и че-

рез дверь окликнула.

– Ты не спишь, мама?

– Приоткрой дверь. Нет, не сплю. Ты у него был?

– Нет. Мы ходили по улице.

– Ты не озяб? Молоко в столовой.

– Спасибо, я знаю. За рекой, на той стороне, огромное зарево, какая-то деревня, не то усадьба горит.

– Какая?

– Не знаю. Огромный пожар. Ты что говоришь?..

– Я сказала: Господи! Ну иди, я буду спать...

– Не слышу.

– Как деревья шумят! Деревья шумят. Спокойной ночи.

11. Ночами

...Когда Саша предложил себя для совершения террористического акта над губернатором, он и сам как-то не верил в возможность убийства и отказ комитета принял, как нечто заранее известное, такое, чего и следовало ожидать. И только на другой день, проснувшись и вспомнив о вчерашнем отказе, он понял значение того, что хотел сделать, и почувствовал ужас перед самим собою. И особенно испугала его та легкость, почти безумие, с каким пришел он к решению совершить убийство, полное отсутствие сомнений и колебаний.

Когда он решил убить Телепнева? Да в ту же, кажется, ночь, когда мать плакала в его комнате и рассказывала о генерале – чуть ли не в ту же самую минуту, как услышал слово: «отец»... И, решив, уже не думал о решенном, а только искал пути; и действовал так настойчиво, осторожно и умно, что добрался-таки до комитета – и только воля других, чуждых, почти незнакомых людей отклонила его от убийства и смерти: спастись Саша не думал и даже не хотел. И странно было то, и особенно страшно, как во сне: каждый день, видя мать, поцеловавшись с нею перед тем, как идти в комитет, он нисколько не думал о ней, упускал ее из виду просто, естественно и страшно.

Потрясение было так сильно, что на несколько дней Саша

захворал, а поднявшись, решил во что бы то ни стало добыть аттестат: казалось, что все запутанные узлы, противоречия и неясности должен разрешить университет. И действительно, сел заниматься и с необыкновенным чувством удовольствия зажег в тот вечер лампу; но как только раскрыл он книгу и прочел первую строчку – ощутил чувство столь горькой утраты, что захотелось плакать: словно с отказом от убийства и смерти он терял мечту о неизъяснимом счастье. Словно именно в эти дни безумия и почти сна, странно спокойные, бодрые, полные живой энергии, он и был тем, каким рожден быть; а теперь, с этой лампой и книгой, стал чужим, ненужным, как-то печально-неинтересным: бесталанным Сашей... В характере его было не отказываться от раз принятого решения, пока не станет невозможно; и он упорно работал, но все безрадостнее и фальшивее становился бесцельный, ненужный труд. Вдруг стало стыдно читать газеты, в которых говорилось о казнях, расстрелах, и из каждой строки глядела безумно-печальными глазами окровавленная, дымящаяся, горящая, истерзанная Россия. Дня по три и по четыре не развертывал он газеты, – но те, кто прочитывал ее от строки до строки, не были мрачнее и сердцем осведомленнее, нежели несчастный юноша, в крови своей чувший созвучья проливаемой крови.

И стало так: по утрам, проснувшись, Саша радостно думал об университете; ночью, засыпая – уже всем сердцем не верил в него и стыдился утренней радости и мучительно доис-

кивался разгадки: что такое его отец-генерал? Что такое он сам, чувствующий в себе отца то как злейшего врага, то любимого, как только может быть любим отец, источник жизни и сердечного познания? Что такое Россия?

Но все меньше спал Саша, охваченный острым непреходящим волнением, от которого начиналось сердцебиение, как при болезни, и желтая тошнота, как тревога предчувствия, делала грудь мучительно и страшно пустою; и уже случалось, что по целым ночам Саша лежал в бессоннице и, как в детстве, слушал немолчный гул дерев. Давно уже смолк этот могучий, ровный, вещий гул, размененный на понятную человеческую речь, и с удивлением, покорностью и страхом слушал Саша забытый голос, звавший его в темную глубину неведомых, но когда-то испытанных снов. Гасли четкие мысли, такие твердые и общие в своей словесной скорлупе; теряли форму образы, умирало одно сознание, чтобы дать место другому. Обнаженный, как под ножом хирурга, лежал Саша навзничь и в темноте всем легким телом своим пил сладостную боль, томительные зовы, нежные призывы. Зовет глубина и ширь: открыла вещие глаза пустыня и зовет материнским, жутким голосом: Саша! Сын!

Осторожно, чтобы не разбудить кого-то, Саша раздвигает на груди ночную сорочку, все шире обнажает молоденькую, худую, еще не окрепшую грудь и подставляет ее под выстрелы ружей. Молчит и ждет. И плачет так тихо, что не услышала бы и мать, сказала бы, улыбаясь, что спит тихо сын

ее Саша. Однажды в такую ночь Саша бесшумно спустился с кровати, стал на колени и долго молился, обратив лицо свое в темноте к изголовью постели, где привешен был матерью маленький образок Божьей Матери Утоли Моя Печали. Уже несколько лет не молился Саша, но по вернувшейся привычке крестился, стараясь захватывать плечи: звал Бога на помощь и предавал Ему жизнь свою и дух. Наутро Саше стало неловко, и больше он не молился; но радостную и светлую память об этой ночной молитве он донес до самой своей ранней могилы.

В это сумеречное время, короткое по дням, но такое долгое по чувству, Саша пережил несколько почти счастливых мгновений: это когда он жертвовал своей любовью к Жене Эгмонт. «Будет такая пошлость, если я ее полюблю», – подумал он совсем неподходящими словами, а по острой боли сердца понял, что отдает драгоценное и тем искупает какую-то, все еще неясную вину. И эту острую боль, такую немудрую и солнечно-простую, он с радостью несколько дней носил в груди, пока ночью не придушила ее грубая и тяжелая мысль: а кому дело до того, что какой-то Саша Погодин отказывается любить какую-то Евгению Эгмонт? «Как купец, который накрал, а потом жертвует гривенник», – подумал Саша опять-таки неподходящими словами, чувствуя, как снова охватывает душная ночная хмара.

И только одно спасло его в эти дни от самоубийства: та желтая тошнота, тревога предчувствия, знак идущего, вер-

ная подруга незавершенной жизни, при появлении которой не верилось ни в университет, ни в свое лицо, ни в свои слова. Нужно только подождать, еще немного подождать: слишком грозен был зов взволнованной земли, чтобы остаться ему гласом вопиющего в пустыне.

Тут и пришел Колесников...

12. Дальнейшее об отце

После ночной прогулки Елена Петровна с тревогой смотрела на Сашу и поджидала Колесникова; но Колесников три дня не приходил, а Саша все три дня сидел дома и был очень нежен, – все, что и требовалось для короткого спокойствия. Явился Колесников в субботу, когда у Погодиных собрались гимназисты и гимназистки, среди них и Женя Эгмонт. Бродили по подсохшему саду, когда среди голых кустов показалась велосипедная шапочка и черная борода неприятного гостя и загудел издали его глухой, словно из-под земли, ворчащий бас; и сам Саша с видимой холодностью пожал ему руку.

– Чудесный закат! – сказал Колесников, спокойно усаживаясь на скамейке как раз посередине между Линочкой и Женей Эгмонт.

– К моему лицу идет, того-этого, как нельзя лучше!

Небо между голыми сучьями было золотисто-желтое и скорей походило на осеннее; и хотя все лица, обращенные к закату, отсвечивали теплым золотом и были красивы какой-то новой красотой, – улыбающееся лицо Колесникова резко выделялось неожиданной прозрачностью и как бы внутренним светом. Черная борода лежала как приклеенная, и даже несчастная велосипедная шапочка не так смущала глаз: и на нее пала крупица красоты от небесных огней.

– Да вы в зеркало смотрите! – крикнула Линочка, которой в эту минуту очень понравился Колесников.

– Смотрюсь, того-этого. Лицо – зеркало души.

– Глаза, а не лицо, – поправила гимназистка, и начался пустой, легкий и веселый разговор, в котором Колесников оказался не последним. Он беззаботно шутил, звал всех летом по грибы, и только знавший его Саша заметил два-три долгих взгляда, искоса брошенных на Женю Эгмонт. «Если бы я знал, о чем с ней говорить, я бы к ней подошел: пусть он не думает глупости», – сердито, почти гневно подумал Саша и отправился в дом, куда уже звали пить чай. И еще раз взглянул на желтое небо, горевшее между неподвижными теперь и молчаливыми деревьями, и, подумав про сад, улыбнулся тихо: «Да, для вас он молчит!»

Вслед за ним и все тронулись к дому, к его приветно зацветившимся окнам, когда Колесников остановил Лину:

– На два слова, дорогая. Что это за барышня, что сидела рядом со мною? Очень красивая, того-этого, девица.

– Еще бы не красивая! – сказала Линочка с гордостью. – Ее фамилия Эгмонт.

– Так, так, Эгмонт! Из каких же она?

– Отец ее директор банка. Да неужто же вы не знаете: Эгмонт? Их весь город знает.

– Как же, как же, теперь и я знаю. Строгая, того-этого, семья, в карете нашу грязь месит. Как же это они ее к вам пускают?

Линочка вспыхивает:

– Ну и глупости! Это вы забываете, что папа был генералом, а они прекрасно помнят. Все-таки ваша правда: препротивные они люди.

– И часто она у вас бывает?

«Чего он выпрашивает?» – подумала Линочка, и ее снова охватила та мучительная тревога за Сашу, от которой хотелось кричать. Покраснев, она отбросила ногой темневший на дорожке прошлогодний листок, хотела промолчать, но не выдержала и взглянула прямо в глаза Колесникову:

– Вы, Василий Васильевич, должно быть, ужасно злой человек! Ужасно!

Широкие плечи Колесникова съежились, как от неожиданного удара, в глазах его, устремленных на Линочку, снова метнулось что-то потерянное, одинокое, давно и напрасно ждущее ласки. И уже начала раскаиваться Линочка, когда Колесников грузно поднялся и сказал тихо и печально:

– Что ж, того-этого, может быть, вы и правы. Только, если это злость, то...

Он махнул рукой, не окончив фразы, и пошел к дому; и широкая спина его гнулась, как у тяжело больного или побитого. В столовой, однако, под светом лампы он оправился и стал спокоен и ровен, как всегда, но уже больше не шутил и явно избегал смотреть на Женю Эгмонт. Когда же все разошлись, попросился в комнату к Саше. «Ах, если бы я смела подслушивать!» – мелькнуло в голове у Елены Петровны.

– Мне не нравится, Василий Васильевич, – начал Саша прямо, – что вы шутите и вообще притворяетесь таким простаком. Этим вы вводите в заблуждение всех... всех наших. И значение ваших взглядов я понимаю: тоже нехорошо!

Колесников уныло подумал: «Боже ты мой! То сестра, а то этот: вот она, чистота!» – и покорно ответил:

– Что ж, того-этого, и это правда! Только я полагаю, Александр Николаевич, что негоже петлю раньше времени накидывать, успеют, того-этого, ваши-то намучиться. Что же касается моих поглядок, то я же вам откровенно объяснил причину: ведь я вас сватать пришел, и нужно же мне было повидать женихову, того-этого, родню.

Саша не ответил. Он сидел у стола в своей любимой позе: ногу положив на ногу и опустив глаза на кончики сложенных на коленях пальцев, и красивое лицо его было спокойно, холодно и непроницаемо. Можно было сколько угодно смотреть на это холодное лицо, – и ни одна черта не дрогнет, не выразит того волнения, которое вызывает человеческий пристальный взгляд. «Так он и смерть встретит», – почувствовал Колесников и на одно мгновение в нерешимости остановился. Потер под бородою горло, и словно этот жест, облегчавший дыхание, успокоил его и обычную твердость придал слегка размякшим чертам. И холодно начал:

– Да, того-этого, родня... Вот и еще хотел я вас спросить, да случая не представлялось. Скажите, Александр Николаевич, как, собственно, звали вашего отца? – Николай...?

– Николай Евгеньевич.

– Эн Е, значит? Да, того-этого, так и тот офицер назван: Н. Е. Погодин. Это я в одной старой газетке прочел про некий печальный случай: офицер Н. Е. Погодин зарубил шашкой какого-то студентика. Лет двадцать назад, того-этого, давно уж!

– Как это произошло?

– А так произошло, что стоял этот офицер в охране – особы, того-этого, проезжали, – ну, и, конечно, толпа, и студентик этот выразился довольно непочтительно, а он его шашкой. Насмерть, однако.

– Офицер был пьян?

– Нет, того-этого, не сказано. А студентик-то, действительно, был выпивши, трезвый-то кто ж на охрану полезет. А может, и дурак был, а его за пьяного приняли, не знаю, того-этого. Всяко бывает.

– Вы, наверное, помните его фамилию?

– Помню. Фамилия очень простая: Стеклов. Судя по вопросам вашим, не видно, чтобы вы этот случай помнили или знали... может быть, того-этого, тут просто совпадение? Всяко, говорю, бывает.

Саша взглянул на Колесникова и ответил со спокойной рассудительностью:

– Не думаю, чтобы совпадение. Да отчего же такому случаю и не быть? Офицера судили?

– Нет.

– Да и не все ли равно, отец это или кто-нибудь другой? Не вам, Василий Васильевич, удивляться таким случаям... да и не мне, пожалуй, хоть я на двадцать лет вас моложе. Вы что-то еще хотели мне рассказать.

Уже обманут был Колесников спокойствием голоса и холодом слов, и что-то воистину злобное уже шевельнулось в его душе, как вдруг заметил, что Саша медленно потирает рукой свою тонкую юношескую шею – тем самым жестом, освобождающим от петли, каким он сам недавно. И потухло злобное, и что-то очень похожее на любовь смутило жестокое сердце, одичавшее в одиночестве, омертвевшее в боли собственных ран: «Бедный ты мой мальчик, да за что же такое наказание! Боже ты мой, Боже ты мой!» Опустил голову, чтобы не видеть руки, медленно потирающей юношескую тонкую шею, и услышал, как в гостиной под неуверенными пальцами тихо запел рояль: что-то нежное, лепечущее, наивное и трогательное, как первый детский сон. Издалека донесся стук посуды: должно быть, в кухне перемывали на ночь после гостей тарелки – шла в доме своя жизнь.

Саша приоткрыл дверь и громко сказал:

– Не надо, мамочка. Потом!

Музыка смолкла.

– Саша, пойдй сюда на минутку.

Извинился и вышел. Над постелью, крытой белым тканевым одеялом, поблескивал маленький золоченый образок, был привязан к железному пруту – сразу и не заметишь.

В порядке лежали на столе книги в переплетках и тетради; на толстой, по-видимому, давнишней, оправленной в дерево резине было вырезано ножичком: «Александр Погодин, уч...» – дальше состругано. Так хорошо изучил дом Колесников, а теперь, казалось, что в первый раз попал.

– Так вот, Василий Васильевич, – сказал Саша, входя и закрывая дверь, – я хотел вас попросить продолжить наш разговор, что тогда на горе. Горела-то действительно усадьба, вы знаете?

Колесников поднялся и коротко простился с Сашей:

– Прощайте.

– Куда же вы? Вы хотели поговорить.

– А теперь, того-этого, домой захотел.

Саша вспомнил его «дом» – заходил раз: комнатку от сапожника, грязную, тухлую, воняющую кожей, заваленную газетами и старым заношенным платьем, пузырек с засохшими чернилами, комки весенней грязи на полу... Помолчали.

«Солгать бы ему, что фамилию офицера перепутал?... Да нет, не стоит: от судьбы все равно не уйдешь».

«Пойти проводить его? – Ведь все равно не усну. Да нет, пускай: от судьбы не уйдешь. Но какая страшная будет ночь!»

– Прощайте.

– Прощайте.

13. Нельзя ждать

На Фоминой неделе, в воскресенье, в апрельский погожий и теплый, совсем летний день, Колесников и Саша, захватив еды, с утра ушли за город и возвращались только поздней ночью.

Уже стемнело, и шоссе, по которому они быстро шагали, едва светилось. Справа от дороги земля пропадала в неподвижной, теплой мгле, и нельзя было увидеть, что там: лес или поле; и только по душному, открытому, ночному запаху вспаханной земли да по особенной бархатной черноте чувствовалось поле. Но еще чернее, до слепоты, была левая сторона, над которою зеленел запад; и горизонт был так близок, что, казалось, из самой линии его вырастают телеграфные столбы. Разогревшийся от быстрой ходьбы Саша расстегнул куртку и сорочку и голой грудью ловил нежную и мягкую свежесть чудесной ночи, и ему чудилось, будто свершается один из далеких, забытых, прекрасных снов – так властны были грезы и очарование невидимых полей. А, главное, почему было так хорошо, и ночь, даже не чувствуемая спящими людьми, была единственной и во всем мире, во все года его прекраснейшей – это главное было в Сашиной душе: исчез холодный стыд бесталанности и бесцельного житья, и закрыла свой беззубый зев пустота – Саша уже целых двадцать четыре часа был тем, каким он рожден быть. Легко идется

по земле, когда скоро умрешь за нее.

– Да, родной мой!.. – мягко-певучим голосом говорил Колесников, и только теперь, слушая его, можно было понять того дурака, который когда-то учил его пению. – Да, родной мой, очень виноват я перед вами. Хоть и поверил сразу, с первого же вашего взгляда, а все думаю, надо, того-этого, проверить. Много и жестоко меня били, и нет у меня настоящего доверия к людям, – две ноги ясно вижу, а дальше, того-этого, начинаются сомнения. Может, и сейчас – что вы думаете! – сомневался бы да гадал на гуще, не увидь я тогда при зареве ваши глаза. Хотите узнать человека? Соорудите, того-этого, пожарчик и посмотрите, как отразится огонь в его глазу.

– Обо мне не стоит. Говорите лучше о деле.

– Да как же не стоит? Вы же и есть самое главное. Дело – вздор. Вы же, того-этого, и есть дело. Ведь если из бельэтажа посмотреть, то что я вам предлагаю? Идти в лес, стать, того-этого, разбойником, убивать, жечь, грабить, – от такой, избави Бог, программы за версту сумасшедшим домом несет, ежели не хуже. А разве я сумасшедший или подлец?

Некоторое время шли молча. Заговорил Саша:

– Моя жизнь, Василий Васильевич, никогда не была особенно веселой. Конечно, главная причина – моя бесталанность, без таланта очень трудно быть веселым, но есть и другое что-то, пожалуй, поважнее. И вы подумайте, Василий Ва-

Сильевич, этого важного я как раз и не помню! Как странно: самого главного, без чего и жизнь непонятна, и вдруг не помнить! Это все равно, что потерять ключ от своего дома. А знаю, что было оно, что это не сон мне представился; нет, скорее вроде того, как крикнуть или выстрелить над сонным человеком: он и выстрела не слышал, а проснулся весь в страхе или в слезах. Впрочем... я совсем не умею говорить.

– Говорите, того-этого.

– Может быть, это произошло тогда, когда я был совсем еще ребенком? И правда, когда я подумаю так, то начинает что-то припоминаться, но так смутно, отдаленно, неясно, точно за тысячу лет – так смутно! И насколько я знаю по словам... других людей, в детстве вокруг меня было темно и печально. Отец мой, Василий Васильевич, был очень тяжелый и даже страшный человек.

– Жестокий?

– Да, и жестокий. Но главное, тупой и ужасно тяжелый, и его ни в чем нельзя было убедить, и что бы он ни делал, всегда от этого страдали другие. И если б хоть когда-нибудь раскаивался, а то нет: или других обвинял, или судьбу, а про себя всегда писал, что он неудачник. Я читал его письма к матери... давнишние письма, еще до моего рождения.

Опять некоторое время молча шагали в темноте.

– Когда я так шагаю, – вдруг громко и густо загудел Колесников, – я ясно чувствую, что я мужик и что отец мой мужик. А когда бываю в комнате или, того-этого, еду на пролетке,

то боюсь насмешек и все думаю о двери: как бы не забыть, того-этого, где дверь. А когда падаю или локтем ударюсь, то непременно обругаюсь по-матерну, хотя ругательство ненавижу. Уронил я раз Милля, толстенная, того-этого, книжища, и тоже обругался; и так, того-этого, стыдно стало: цивилизованный, думаю, англичанин, а я его такими словами!

Колесников засмеялся и продолжал:

– А раз в опере заснул, ей-Богу, правда! Длинная была какая-то, как поросычья, того-этого, кишка. А раз на выставку меня повели, так я три дня как очумелый деспот ходил: гляжу на небо да все думаю – как бы так его перекрасить, того-этого, не нравится оно мне в таком виде, того-этого!

Колесников остановился и неистово захохотал – точно телега по шоссе загрохотала. Засмеялся, глядя на него, и Саша. Внезапно Колесников стих и совершенно спокойным голосом сказал:

– Идем! Зря я вас своими анекдотами перебил. Говорите, того-этого. Ночь-то какая чудесная!

– Я про отца.

– Про отца так про отца. Я вас, Саша, без отчества буду звать.

– Завтра я, пожалуй, расскаюсь в том, что говорил сегодня, но... иногда устаешь молчать и сдерживаться. И ночь, правда, такая чудесная, да и весь день, и вообще я очень рад, что мы не в городе. Прибавим ходу?

– Прибавим.

– Что я люблю и уважаю мать как ни одного в мире человека, это понятно...

– Понятно. Слушай, Саша... погоди, идем тише! Я тоже, брат, никогда этого не повторю. Она меня боится и, того-этого, не любит, а я... ее...

В голосе Колесникова что-то ухнуло – точно с большой высоты оборвался камень и покатился, прыгая по склону. Замолчали. Саша старался шагать осторожно и неслышно, чтобы не мешать; и когда смотрел на своидвигающиеся ноги, ему казалось, что они короткие и обрезаны по щиколотку: въелась в сапоги придорожная известковая пыль и делала невидимыми.

– Нет, того-этого, точка! Не могу сказать. Только вот что, Саша: когда буду я умирать, нет, того-этого, когда уже умру, наклонись ты к моему уху и скажи... Нет, не могу. Точка.

– Я...

– Молчи! – знаю. Молчи.

Снова молча шагали. Казалось, уж не может быть темнее, а погас зеленый запад, – и тьма так сгустилась, словно сейчас только пришла. И легче шагалось: видимо, шли под уклон. Повеяло сыростью.

– Но вот что мне удивительно, – заговорил Саша, – я люблю и отца. И смешно сказать, за что! Вспомню, что он любил щи – их у нас теперь не делают, – и вдруг полюблю и щи, и отца, смешно! И мне неприятно, что мама... ест баклажаны...

– Вздор! Нашел, чем упрекнуть, того-этого! Свинство!

– Конечно, вздор!.. Не стоит говорить. Или вот борода его тоже нравится. Борода у него была совсем мужицкая, четырехугольная, окладистая, русая, и почему-то помню, как он ее расчесывал; и когда вспомню эту бороду, то уж не могу ненавидеть его так, как хотел бы. Смешно!

Оба шли и мечтательно смотрели перед собою; круто поднималось шоссе, и в темноте чудилось, будто оно отвесно, как стена.

– Борода, конечно. У моего батьки борода тоже вроде дремучего леса, а подлец он, того-этого, преестественный. Вздор! Мистика!

– Нет, не мистика! – уже серьезно и даже строго сказал Саша, и почувствовал в темноте Колесников его нахмурившееся, вдруг похолодевшее лицо. – Если это мистика, то как же объяснить, что в детстве я был жесток? Этому трудно поверить, и этого не знает никто, даже мама, даже Лина, но я был жесток даже до зверства. Прятался, но не от стыда, а чтобы не помешали, и еще потому, что с глазу на глаз было приятнее, и уж никто не отнимет: он да я!

– Кто он?

– Кто-нибудь, мало ли на свете живого! Хотите, расскажу вам про кота? Был у нас кот – это еще при жизни отца в Петербурге, – и такой несчастный кот: старый, облезлый, его даже котята не уважали и когда играли, то били его по морде. Несчастный кот! И всего несчастнее был он через меня:

мучил я его ежедневно, систематически, не давая отдыха ни на минуту – хожу, бывало, и все его ищу. На людях делаю вид, что даже не замечаю, а как одни, или во дворе за сараем поймаю, – был такой глухой угол, и он, дурак, ходил туда спасаться, – так или камнем его, или прижму поленом и начну волоски выдергивать. И вы подумайте, до чего дошел его страх: даже кричать перестал, точно не из живого, а из меха дергаю! И вот раз вечером вошел я в кухню, а там никого, и сидит на полу кот, опустил облезлую морду, дремлет, должно быть, в тепле. Увидел он меня – а я нарочно медленно подхожу и так улыбаюсь, руки расставил – и так испугался, что впал в столбняк: сидит и смотрит, и ни с места. И вдруг пришла мне бессовестная мысль: а что, если я его приласкаю? – что с ним будет? И вместо того чтобы ударить или щипать, сел на корточки, поглаживаю по голове и за ухом и самым сладким голосом: котенька, котик, миленький, красавец! – слов-то он и не понимает.

Саша замолчал, и губы его в темноте передернуло улыбкой.

– Ну? Что же кот?

– Кот? А кот сразу поверил... и раскис. Замурлыкал, как котенок, тычется головой, кружится, как пьяный, вот-вот заплачет или скажет что-нибудь. И с того вечера стал я для него единственной любовью, откровением, радостью, Богом, что ли, уж не знаю, как это на ихнем языке: ходит за мною по пятам, лезет на колена, его уж другие бьют, а он лезет,

как слепой; а то ночью заберется на постель и так развязно, к самому лицу – даже неловко ему сказать, что он облезлый и что даже кухарка им гнушается!

– Больше его вы уж не били?

– Разве можно при таком доверии?

– Ну что же кот: подох, того-этого?

– Отец dokonчил: велел повесить за старость. И, по правде, я даже не особенно огорчился: положение для кота становилось невыносимым: он уже не только меня, а и себя мучил своею бессловесностью; и только оставалось ему, что превратиться в человека. Но только с тех пор перестал я мучить.

– То-то! Понял?

– Понял. Но ведь был же я жесток? Откуда это?

Саша мрачно задумался, и уж не так тепла казалась ночь, и потяжелела дорога, и земля словно отталкивала – недостоин, не люблю, чужой ты мне! И не чувствовал Саша, что Колесников улыбается не свойственной ему улыбкой: мягко, добродушно, по-стариковски.

– Вот так кот, того-этого! Профессор, а не кот.

Но Саша как будто не слышал и тихо промолвил:

– Кто я? Правда, мне девятнадцать лет, и у нас было воспитание такое, и я... до сих пор не знаю женщин, но разве это что-нибудь значит? Иногда я себя чувствую мальчиком, а то вдруг так стар, словно мне сто лет и у меня не черные глаза, а серые. Усталость какая-то... Откуда усталость, когда я еще не работал?

Уже серьезно и даже торжественно Колесников сказал:

– Народ, Саша, работал. Его трудом ты и утомился.

– А тоска, Василий?

– Его тоскою тоскуешь, мальчик! Я уже не говорю про те-перешнее, ему еще будет суд! – а сколько позади-то печали, да слез, да муки, того-этого, мученической. Тоска, говоришь? Да увидь я в России воистину веселого человека, я ему в морду, того-этого, харкну. Ну и нечего харкать: нет в России веселого человека, не родился еще, время не довлеет веселости.

– Ах, Василий, Василий, сам ты хороший человек...

– Как же: и умница, и красавец!

– Молчи! Ты ошибаешься во мне: не чист я, как тебе нужно. Ничего я не сделал, правда, а чувствую иногда так, будто волочится за мною грех, хватает за ноги, присасывается к сердцу! Ничего еще не сделал, а совесть мучит.

– И грех не твой, того-этого. И грех позади.

– А если грех позади, то как же я могу быть чист! И не может, Василий, родиться теперь на земле такой человек, который был бы чист. Не может!

– Вздор! Ты чист. Недаром же я тебя как ягненок, того-этого, среди целого стада выбрал. Нет на тебе ни пятнышка. И что иконка у тебя над кроватью – молчи! – и это хорошо. Сам не верю, а чтоб ты верил, хочу. А что грех на тебе отцов, так искупи! Искупи, Саша!

Они уже давно остановились и стояли посередь дороги, но

не замечали этого. Исступленно кричал Колесников:

– Искупил, Саша!

Он широким взмахом обвел рукою тьму:

– Смотри, вот твоя земля, плачет она в темноте. Брось гордых, смиришь, как я смирился, Саша, ее горьким хлебом покормишь, ее грехом согреши, ее слезами, того-этого, омойся! Что ум! С умом надо ждать, да рассчитывать, да выгадывать, а разве мы можем ждать? Заставь меня ждать, так я завтра же, того-этого, сбешусь и на людей кидаться начну. В палачи пойду!

– Нельзя ждать! – также крикнул Саша и не заметил, что он кричит.

– Ни минуты, ни секундочки! Пусть они, умные да талантливые, делают по-своему, а мы, бесталанные, двинем по низу, того-этого! Я мужик, а ты мальчишка, ну и ладно, ну и пойдём по-мужичьему да по-ребячьему! Мать ты моя, земля ты моя родная, страдалница моя вековечная – земно кланяюсь тебе, подлец, сын твой – подлец!

И он действительно стал на колени и с силою потянул за собою Сашу, крича, как в бреду:

– Сашка, на колени! Сашка, не гнушайся пылью. Смиришь, Сашка, – а то убью!

Но и сила же была у мальчика: оттолкнув Колесникова, он повелительно и страшно крикнул:

– Встань!

– Гнушаешься, генеральский сын?

– Гнушаюсь. Встань!

– Смотри, убью!

Скорей почувствовал, чем увидел Саша, что Колесников полез в карман за револьвером. Зловеще молчала неподвижная тьма – точно ждала огня и выстрела; и призраки страха бесшумно реяли над темными полями. «Первый не буду стрелять», – подумал Саша, вынув браунинг и неслышно спуская предохранитель. Но прошли минута и другая, а выстрела не следовало, и все так же на коленях стоял Колесников. «Да что с ним?» Но вдруг поднялся Колесников и, колыхнув воздух около Саши, быстро и молча двинулся вперед по шоссе. Дав пройти ему шагов десять, двинулся и Саша; и так с версту молча шли они, и перед юношей, все на одном и том же расстоянии, смутно колыхалась высокая молчаливая фигура. Уже засветилось небо над далью шоссе – приближался город, когда Колесников остановился, поджидая товарища, и сказал совершенно спокойно:

– Извини меня, Саша, я и впрямь, того-этого, начинаю на людей кидаться. Находит на меня, что ли... Ты не обиделся, парень?

– Нет, – сдержанно ответил Саша, – на крик и даже на плохие слова я обидеться не могу. Только заметь, пожалуйста, Василий, что и сам я... с прахом мешаться никогда не буду, да и другим не позволю.

– Как ты повернул, того-этого: с прахом! – невесело улыбнулся Колесников и, вздохнув, добавил: – Но ты прав. Теперь

понимаешь, Саша, почему я не мог стать в первую голову, а двигаю тебя?

– Понимаю, пожалуй.

– Зверь я, Саша. Пока с людьми, так, того-этого, соблюдаю манеры, а попаду в лес, ну и ассимилируюсь, вернусь в первобытное состояние. На меня и темнота действует того-этого, очень подозрительно. Да как же и не действовать? У нас только в городах по ночам огонь, а по всей России темнота, либо спят люди, либо если уж выходят, то не за добром. Когда будет моя воля, все деревни, того-этого, велю осветить электричеством!

Он засмеялся, но невесело.

– Ты мне про кота рассказал, а хочешь, я тебе про некоего медведя расскажу? Добродетельный был медведь, знал все штуки и под конец, того-этого, проникся альтруизмом до высокой степени. Ну и случилось, что на вожака в лесу волки напали и уж совсем было загрызли, да медведь как двинет, того-этого, всю стаю расшвырял. Расшвырял и давай вожаку по своей привычке ранылизывать – все от добродетели, не иначе как-нибудь. Лизнул раз – что за черт, того-этого, сладко! Он другой, да третий, да до самого станового хребта и долизал! Съел, того-этого.

Рассказывал Колесников весело и даже как будто со смешком, но видно было, что ответа ждет беспокойно и возлагает на него какие-то свои надежды. И облегченно вздохнул, когда Саша промолвил со строгим упреком:

– Зачем ты чернишь себя, Василий? Эта сказка совсем к тебе не идет. И вообще ты напрасно весь день сегодня бросал слово «разбойник»: мы не в разбойники идем. У разбойника личное, а где оно у тебя? Что тебе нужно: богатство? – слава? – вино и любовь?

Колесников засмеялся так, будто сама душа его смеялась, и долго не мог успокоиться.

– Ну и сказал, того-этого! Вино, карты и любовь – хо-хо-хо!

Но Саша был серьезен и даже не улыбнулся на его неистовую веселость.

– Это вовсе не так смешно, Василий. И не знай я, что ты бескорыстнейший в мире человек и честнейший и самый нежный...

Колесников, вытиравший рукою глаза, – должно быть, от смеха слезились они, – коротко оборвал:

– Буде! Ходу!

Минут пять шли молча.

– Вот еще, Василий, чтобы не было недоразумений: мой отец... все-таки он был человек честный. По-своему, конечно, но очень честный, это я наверно знаю.

– Верю. А я, Саша, себе все-таки такие же сапоги куплю, как у тебя: в калошах по болотам не напрыгаешься. Можно бы, конечно, подешевле, ну да уж кутну напоследок, того-этого!

– Сегодня у нас воскресенье? Ну, так деньги я добуду не

позже, как к четвергу. Эта тысяча положена отцом в банк до моего совершеннолетия, и я могу ею распоряжаться, но только трудно будет с векселем; надо узнать, как это делается. Ты знаешь?

– Нет.

– Все равно, деньги эти мне уже не понадобятся, так что можно дать большие проценты...

Было ли это юношеское, мало сознательное отношение к смерти, или то стойкое мужество, которое так отличило Сашу в его последние дни, но о смерти и говорил он и думал спокойно, как о необходимой составной части дела. Но так же, впрочем, относился к смерти и Колесников.

– Дело только за маузерами, – сказал он. – Карты и все, того-этого, сведения у меня есть. Да, Саша, а от винных-то лавок нам придется отказаться: трудно будет народ, того-этого, оторвать от пойла; а ежели жечь, деревню спалишь.

– Жалко! А когда ты меня с Андреем Ивановичем сведешь?

– С матросиком-то? Уж и не знаю, Саша. Берегу я его, как клад, того-этого, драгоценнейший, на улицу не выпускаю. Вот, Саша, чистота! Пожалуй, и тебе не уступит. Я б и тебя тревожить не стал, одним бы матросиком обошелся, да повелевать он, того-этого, не умеет. О, проклятое рабье племя – даже и тут без генеральского сына не обойдешься! Не сердись, Саша, за горькие слова.

Саша, краснея, согласился:

– Что ж, это отчасти правда.

– Проклятое племя! Ну долго ли мой отец был крепостным, а я всю жизнь, того-этого, послушанием страдаю. Ты вон давеча на меня крикнул, а я сейчас же за револьвером – от послушания, того-этого, оттого, что иначе возразить не умею, от стыда! Эх, Саша, много еще ты молиться должен, пока свой грех замолишь.

Молчали; и уже чувствовали, как немеют ноги от дальнего пути. Справа от шоссе то ли сгустилась, то ли посерела тьма, обрисовав кучу домишек; и в одном окне блестел яркий и острый, как гвоздь, огонь – один на всю необъятную темноту ночи. Колесников остановился и схватил Сашу за руку:

– Смотри, Саша! Ну не сразу ли видно, что рабий огонь. Воззрился в темноту, а сам, того-этого, дрожит и мигает, как подлец. Нет, будь ему пусто, пойду напугаю его. Много, думаешь, ему нужно? Попрошу воды, а он уж и готов...

Но Саша, смеясь, удержал его. Начинала томить усталость. Сели на краю канавки, лицом к далекому огоньку, уже расплывшемуся в желтизне окна; Саша закурил.

– Последняя, – сказал он про папиросу, – всю дорогу берег.

Остальной путь шли молча: устала душа от пережитого, и хотелось думать в одиночку. Только уже у шлагбаума Колесников поставил точку над своими размышлениями и грустно сказал:

– Да, того-этого, никакой дурак в трубе углем не пишет, а

мелом. Так-то, Саша, мел ты мой белейший.

– Завтра придешь?

– Нет. Больше к вам я не приду.

Он сказал «к вам», а не «к тебе», и Саша понял это и одобрил. И вдруг, при мысли о матери, которой он с утра не видал и которая ждет его, сердце его сжалось невыносимой, почти физической болью: даже захватило дыханье. И на мгновение все это показалось страшным сном: и ночь, и Колесников, и те чувства, что только что до краев наполняли его и теперь взметнулись дико, как стая потревоженного воронья. И особенно похоже было на сон полосатое бревно шлагбаума, скупо озаренное притушенным фонарем: что-то невыносимо ужасное, говорящее о смерти, о холоде, о беспощадности судьбы, заключали в себе смутные полосы черной и белой краски. Но это было только мгновение.

И по улице шли молча, торопясь дойти до перекрестка, где разветвлялись пути. Звякнула за углом в переулке подкова и вынырнули возле фонаря два стражника на тяжелых, ленивых лошадях. Хотели повернуть направо, но, увидев на пустынной улице двух прохожих, повернули молча в их сторону. Колесников засмеялся:

– Вот вздумают они нас, того-этого, обыскать, тут нашему громкому делу и конец. Смотри, как целятся.

Но, должно быть, этот смех успокоил стражников; все же один, подав коня к тротуару, наклонился и заглянул в лица, увидел блестящие пуговицы Сашиного гимназического

пальто и, либо спросонок, либо по незнакомству с мундирами, принял его за офицера: выпрямился и крикнул сипловатым басом:

– Здравия желаю, ваше благородие!

Саша коротко и сухо бросил:

– Здорово!

14. Господа гимназисты

Дома Сашу встретило нечто неожиданное: со двора он поразился тем, что окна в столовой, несмотря на позднюю ночь, ярко освещены, и уже с предчувствием чего-то недоброго ускорил шаг. А на пороге с ним почти столкнулась, видимо, поджидавшая его Линочка и торопливо сказала:

– Сашечка, родной мой, не волнуйся, случилось несчастье.

– Мама?..

– Ну что ты! Да нет же, Тимохин. Сегодня утром, то есть, должно быть, ночью, повесился Тимохин. Иди скорее, у нас Добровольский, Штемберг и другие, ждут тебя.

И вдруг охватила его шею руками, спряталась ему на грудь и заплакала: разрешалось отчаянными слезами какое-то волнение, более глубокое, чем могла вызвать смерть малознакомого Тимохина.

– Да родной же мой Сашечка!.. – всхлипывала она и судорожно цеплялась за шею и за руки, точно боялась, что он снова уйдет. – Мы так ждали тебя, отчего ты не приходил! Родной мой Сашечка...

– Ну что ты, Лина! – спокойно сказала подошедшая Елена Петровна и начала отцеплять от Сашиних пуговиц запутавшиеся в них русые волоски. – Успокойся, девочка. Там тебя ждут, Саша, иди.

И вдруг – и Саша даже не знал до сих пор, что это может быть у людей! – Елена Петровна раза три громко и четко лязгнула зубами. «Как собака, которая ловит блох», – дико подумал Саша, холодея от страха и чувствуя, как на губах его выдавливается такая же дикая, ни с чем не сообразная улыбка.

Тяжелая была ночь! До утра бледные гимназисты сидели у Погодиных и растерянно, новыми глазами, точно со страхом рассматривали друг друга и два раза пили чай; а утром вместе с Погодиными отправились в богоугодное заведение, куда отвезен был Тимохин, на первую панихиду.

Вздутое лицо покойника было закрыто кисеей, и только желтели две руки, уже заботливо сложенные кем-то наподобие крестного знамения – мать и отец Тимохина жили в уезде, и родных в городе у него не было. От усталости и бессонной ночи у Саши кружилась голова, и минутами все заплывало туманом, но мысли и чувства были ярки до болезненности.

Перед глазами двигалась черная с серебром треугольная спина священника, и было почему-то приятно, что она такая необыкновенная, и на мгновение открывался ясный смысл в том, что всегда было непонятно: в синих полосках ладана, в странности одежды, даже в том, что какой-то совсем незначительный человек с козлиной реденькой бородкой шепчет: «Раздавайте!», а сам, все так же на ходу, уверенно и громко отвечает священнику:

– Господу помолимся! Господу помолимся!

Саша думает, покорно принимая свечу: «Только сейчас он сидел дома и пил чай с женой, и борода у него козлиная, а теперь он необыкновенный, имеет власть и знание, и это понимает священник и ждет ответа – какая это правда!»

И все правда, и все делается именно так, как нужно. Открыто окно в маленький заведенский садик, где гуляют больные, и пахнет из окна тополем и распускающейся березкой – так и нужно, чтобы было открыто и чтобы пахло. И чтобы весна была, апрель, тоже нужно. Увидел в синем дыму лицо молящейся матери и сперва удивился: «Как она сюда попала?», – забыл, что всю дорогу шел с нею рядом, но сейчас же понял, что и это нужно, долго рассматривал ее строгое, как бы углубленное лицо и также одобрил: «Хорошая мама: скоро она так же будет молиться надо мною!» Потом все так же покорно Саша перевел глаза на то, что всего более занимало его и все более открывало тайн: на две желтые, мертвые, кем-то заботливо сложенные руки. И уверенно подумал, что и он так же будет лежать и так же будут сложены руки, и от тихой жалости к себе защипали в носу слезы: так нужно.

Что-то сдвинулось в мозгу: на несколько минут словно затмилось сознание, и это уже не Тимохин лежит и не над ним служат, а лежит он, Саша, и эти руки его; так очевидно и так страшно было замещение одного другим, что Саша зашевелил пальцами и подумал, холодея: «Скорее, скорее надо убедиться, что это мои руки и шевелятся». И так же внезап-

но успокоился и задумался о Тимохине и в одно мгновение необыкновенно быстрыми мыслями понял всю его жизнь.

Какое-то волнение пробежало среди молящихся; послышался сдержанный шепот:

– Сумасшедший! Прогоните сумасшедшего!

Как и все, кто еще не видел, Саша быстро повернулся к раскрытому окну и вздрогнул: повисши руками на подоконнике, в часовенку заглядывал один из гулявших в садике сумасшедших, стриженный, темный, без шапки, – темная и жуткая голова. Он торопливо улыбался, стараясь поскорее выразить какое-то свое отношение, а глаза с сверкающим белком бегали по лицам и горели ненасытимым отчаянным любопытством. Часто крестясь, поспешно прошел Добровольский, и через минуту голова скрылась, а через несколько минут кончилась и панихида.

Но нерешительно медлил священник, то ли собираясь разоблачаться, то ли сделать что другое; по-видимому, ему хотелось сказать гимназистам слово, но не знал, насколько это будет прилично. Наконец обернулся и все так же нерешительно обвел присутствующих старческими, заплаканными, очень простыми, добрыми стариковскими глазами. Саша, привыкший видеть только своего гимназического о. Алексея и как-то забывший о существовании других священников, удивился, что это не о. Алексей, и с дружелюбным недоумением разглядывал незнакомое, растроганное, бледное стариковской бледностью лицо и красные от слез веки. И вдруг

смутился, почувствовав в глазах старика не только страдание, но и робость, даже испуг. Были смущены и другие.

«Да скоро ли он?» – думал Погодин, мучась. Слегка расставив ноги в мягких, без каблуков, сапогах, – точно не смел стать спокойнее и тверже, – священник нерешительно касался рукою наперсного креста; вдруг заморгал часто выцветшими глазами и сказал добрым, дрожащим от доброты и желания убедить голосом:

– Господа гимназисты! Как же это можно? А как же родители-то ваши, господа гимназисты? Как же это так, да разве это можно? Ах, господа гимназисты, господа гимназисты!

Он еще что-то хотел прибавить, но не нашел слова, которое можно было бы добавить к тому огромному, что сказал, и только доверчиво и ласково улыбнулся. Некоторые также улыбнулись ему в ответ; и, выходя, ласково кланялись ему, вдруг сделав из поклона приятное для всех и обязательное правило. И он кланялся каждому в отдельности и каждого провожал добрыми, внимательными, заплаканными глазами; и стоял все в той же нерешительной позе и рукою часто касался наперсного креста.

А через несколько минут уже шли по садику, пугливо сторонясь гуляющих сумасшедших, и Тимохин со своим вздутым лицом и желтыми руками остался один. Дорогой Штемберг сердито говорил Саше:

– Этот Добровольский! Отдал его записку в младшие классы, чтобы списывали. Он мог сам сделать копию и вооб-

ще не имел на это права, так как записка принадлежит всему нашему классу. И что там списывать – так можно запомнить, если не дурак. Такое свинство!

Саша вспомнил эту коротенькую предсмертную записку:

«Бороться против зла нет сил, а подлецом жить не хочу. Прощайте, милорды, приходите на панихиду». Было что-то тимохинское, слегка шутовское в этой ненужной добавке: «приходите на панихиду», и нужно было вспомнить кисею, желтые мертвые руки, заплаканного священника, чтобы поверить в ужас происшедшего и снова понять.

Домой пошел только Штемберг, а остальные отправились на обычное место, на Банную гору, и долго сидели там, утомленные бессонной ночью, зевающие, с серыми, внезапно похудевшими лицами. Черный буксирный пароходик волок пу-стую, высоко поднявшуюся над водой баржу, и, казалось, никогда не дойти ему до заворота: как ни взглянешь, а он все на месте.

– Славный поп! – сказал кто-то из гимназистов и тихо улыбнулся.

Ему не ответили, но та же тихая и ласковая улыбка пробежала и по всем молодым, утомленным лицам.

15. На распутье

К четвергу Саша действительно достал деньги: пятьсот рублей за тысячу, а на воскресенье ночью был назначен уход – приходился день на второе мая.

– А не лучше ли днем уйти? – усомнился Колесников. – Ночью, того-этого, еще хватятся.

– Нет. Если я уйду днем, мать узнает ночью... пусть лучше утром узнает, тогда народ. Я в окно уйду, никто не услышит.

– Сестре письмо оставь.

Саша промолчал и с неудовольствием подумал: «Какой нетактичный, не понимает, что об этом не надо говорить и что я сам все знаю». Вообще, в эти последние дни, проведенные дома, он был крайне холоден с Колесниковым и ни разу прямо не взглянул на него, как-то слишком даже гордо обособился в своем горе и думах. И Колесников, не находивший себе места от бурного волнения и безысходных мыслей об Елене Петровне, уже со злобой поглядывал на его спокойно-замкнутое лицо и белые, спокойно положенные на колени руки: «Какой же ты, братец, гордый, недаром генеральский сынок!» Но прямо высказаться не смел и даже, наоборот, относился с особой предупредительностью и, чувствуя ее, еще больше возмущался Сашей и собой.

Что-то путаное появилось в его мыслях, поступках и даже желаниях, и насколько тверды были последние Сашины

шаги, настолько у него все колебалось и прыгало лихорадочно. То без толку хохотал и сыпал «того-этого», то мрачно сунулся и свирепо косил своим круглым, лошадиным глазом; по несколько раз в день посылал Саше записки и вызывал его за каким-нибудь вздорным делом, и уже не только Елене Петровне, а и прислуге становились подозрительны его посланцы – оборванные городские мальчишки, вороватые и юркие, как мышата. Раз, блаженно улыбаясь, пошел к Саше в новых сапогах, чтобы показаться, но на полдороге плюнул и повернул назад: «Еще подумает, обрадовался деньгам, – о, чтоб черт всех вас побрал!» Перестал спать по ночам. А когда пробовал задуматься о дальнейшем или твердо установить смысл ухода, то оказывалось, что все прежние мысли забыты, остались какие-то кончики, обглоданные селедочные хвостики; и начиналась такая дикая неразбериха, что хоть в сумасшедший дом. Службу бросил и, рискуя подвести глубоко запрятанного Андрея Ивановича, матросика, почти каждый день шатался к нему.

– Беспокоит меня Погодин, – говорил он солидно, – не знаю, как и быть, того-этого.

– Что, боится?

– Ну вот, боится!.. Конечно нет. Не нашего он поля ягода, того-этого, вот что.

Андрей Иванович молчал и ждал. Был он среднего роста крепкий человек, одетый в хорошую пиджачную пару, до чрезвычайности по виду спокойный и сдержанный. И моло-

дое лицо его с черными усиками – подбородок он брил – было спокойное, и красивые глаза смотрели спокойно, почти не мигая, и походка у него была легкая, какая-то незаметная: точно и не идет, а всех обгоняет; и только всмотревшись пристально, можно было оценить точность, силу, быстроту и своеобразную ритмичность всех его плавных движений, на вид спокойных и чуть ли не ленивых. И стоял он так легко, будто не касался земли.

– Совсем вы интеллигент, Андрей Иванович! – мрачно сказал Колесников, с ненавистью оглядывая чистенькую, почти как у Саши, в порядке содержимую комнату.

Андрей Иванович улыбнулся, но ничего не ответил. И ждал более ясного. На рваных, подмоченных обоях стены висела чистенькая балалайка с раскрашенной декой: наляпал художник, свой брат матрос, зеленеющих листьев, посадил голубя или какую-то другую птицу и завершил плоской, точно раздавленной розой; покосился Колесников и спросил:

– Неужто и эту возьмете?

– Возьму-с.

– Оставьте, Андрей Иванович.

– Почему же, Василий Васильевич? Пронес, можно выразиться, сквозь огонь и медные трубы, а теперь чего же оставлять! Она же и не обидна, – спокойно ответил Андрей Иванович.

– Ну так сыграйте, того-этого.

– Что прикажете?

Колесников рассердился.

– Прикажете, того-этого, прикажете! И отчего у вас, Андрей Иванович, своих желаний нет, а все «прикажете»? Надо же и достоинство иметь.

– Я достоинство имею, и желания у меня есть, Василий Васильевич.

– Вот вы молчите всегда, тоже, того-этого, нехорошо. Человек, который себя уважает, любит обмениваться мыслями, а не молчит.

Андрей Иванович улыбнулся:

– Кому мои мысли интересны, тот и без слов их знает. Что прикажете сыграть, Василий Васильевич?

Но Колесников уже не хотел музыки: мутилась душа, и страшно было, что расплечется – от любви, от остро болючей жалости к Саше, к матросику с его балалайкой, ко всем живущим. Прощался и уходил – смутный, тревожный, мучительно ищущий путей, как сама народная совесть, страшная в вековечном плену своем.

16. Душа моя мрачна

Темнел впереди назначенный для ухода день и, вырастая, приближался с такой быстротой, словно оба шли друг к другу: и человек, и время, – решалась задача о пущенных навстречу поездах. Минутами Саше казалось, что не успеет надеть фуражки – так бежит время; и те же минуты тянулись бесконечно, растягиваясь страданиями и жутким беспокойством за Елену Петровну.

И одной из самых мучительных мыслей была та: как держать себя с матерью в последние дни. Чаше уходить из дому, чтобы привыкла к отсутствию? Да разве она привыкнет! Быть холоднее и суше, чтобы не так жалела, когда уйдет? Да разве она поверит! А если и поверит, то зачем же эта ненужная, оскорбительная боль, рожденная недоверием и к любви, и к силе: в ней есть неуважение и обида. А если быть таким, как хочется, и все сердце открыть для любви и нежности сыновней, – то как же она будет потом, когда он уйдет навсегда? Мать, мать! Одна ты и здесь можешь научить меня, когда о твоей душе состязаются жизнь и смерть. Мать, мать! На крови твоего сына создается храм будущего – раскрой же мне сердце твоей чудесной властью и благослови на смерть. Мать, мать!

И ответила мать: «Ты же радовал меня, сын? Порадуй и теперь. А когда пойдешь на муку, пойду и я с тобою; и не

смеешь ты крупинки горя отнять от меня – в ней твое прощение, в ней жизнь твоя и моя. Разве ты не знаешь: кого любит мать, того любит и Бог! Радуй же, пока не настала мука».

Так и было. Последние дни Саша провел так:

В четверг только на час уходил к Колесникову и передал ему деньги. Остальное время был дома возле матери; вечером в сумерки с ней и Линочкой ходил гулять за город. Ночью просматривал и жег письма; хотел сжечь свой ребяческий старый дневник, но подумал и оставил матери. Собирал вещи, выбрал одну книгу для чтения; сомневался относительно образа, но порешил захватить с собою – для матери.

В пятницу с утра был возле матери. Странно было то, что Елена Петровна, словно безумная или околдованная, ничего не подозревала и радовалась любви сына с такой полнотой и безмятежностью, как будто и всю жизнь он ни на шаг не отходил от нее. И даже то бросавшееся в глаза явление, что Линочка сидит в своей комнате и готовится к экзамену, а Саша ничего не делает, не остановило ее внимания. Уж даже и Линочка начала что-то подозревать и раза два ловила Сашу с тревожным вопросом:

– Да когда же ты сядешь готовиться, Саша? В понедельник у тебя экзамен.

– Отстань. В понедельник русский язык.

– Ой, смотри, Сашка! Ой, провалишься в тартарары!

Так было до вечера. Вечером Линочка ушла к Жене Эг-

монт вместе заниматься, а Саша читал матери любимого обоими Байрона; и было уже не меньше десяти часов, когда Саше прислуга подала записку от Колесникова: «Выйди сейчас же, очень важно».

– Опять мальчишка принес, – сказала горничная. – Присит ответ.

– Передайте, что сейчас.

Елена Петровна вдруг побледнела и встала:

– Кто это? Колесников?

Саша утвердительно кивнул головой.

– Почему он не идет сюда? Почему он шлет какие-то записочки?.. Саша! Ты идешь к нему?

– На час. Он какой-то странный эти дни, – хмуро ответил Саша.

– Скажи прямо: за ним следят?

Саша кивнул головой и сказал:

– Я приду через час. Не закрывай книгу, мамочка. И не бойся: я вернусь... через час.

Даже в темноте видно было, как взволнован Колесников – весь, всем своим большим телом. Дышал он хрипло и с жадностью схватил Сашину руку. Бормотал неразборчиво:

– Я рад. Погоди, сейчас, сейчас все скажу. Пойдем. Пол-переулка молча тащил его – и, вдруг остановившись, положил обе руки на Сашины плечи и с силою, очевидно, не сознавая, что делает, начал трясти его:

– Саша! Остайся. Я тебе говорю. Все вздор! Ничего нет.

Я обманул тебя, Саша! Меня следует убить. У-у-у, собака!

Саша освободил плечи – руки Колесникова отвалились с странною легкостью – и решительно сказал:

– Говори толком. У тебя бред!

От Сашиной строгости он точно совсем размяк. Вдруг скрипнул зубами, вспыхнул и припал к юноше, бормоча:

– Саша, это во сне пришло. Все мы спим, Саша. Боже ты мой, какое наказание. Сашечка, ты мне... как сын.

Он снова всхлипнул:

– У меня никого нет. Проснись, Саша! Проснись!

– Тише!.. Ты с ума сошел. Идем. Ну, ну, шагай...

– Саша...

– Шагай, тебе говорю!

Оба быстро зашагали, и с каждым шагом Колесников, видимо, успокаивался. Саша с ненавистью взглянул на его сгорбившуюся, сутулую фигуру и сухо начал отчитывать:

– Вы, Василий Васильевич... – поправился и продолжал, – ты, Василий, очевидно, не совсем ясно отдаешь себе отчет в происходящем. В воскресенье, как сказано, я уйду. Слышишь?

«Не любит», – покорно подумал Колесников и сгорбился еще больше.

– Ты, очевидно, думаешь, что я иду потому, что ты меня позвал. Так знай, что с тобой я бы не пошел и зовешь меня не ты, – у тебя и голоса такого нет, – а... народ, или ты это забыл? И если это сон, как ты говоришь, то не ты его наваял,

а... народ. Я не буду становиться на колени, как ты... – Голос юноши звучал сухо и даже злобно:

– Но я отдам ему все, что имею: чистоту. С гордостью скажу тебе, Василий, что я чист – тогда я вздор говорил о каком-то грехе. Если и есть грех, то не мой, и с тем иду, чтобы его сложить. Что будет, я не знаю. Но я люблю тех, к кому иду, и верю... в правду. И если даже только то удастся мне сделать, чтобы честно умереть, то и тогда я буду счастлив. Не может быть, чтобы бесплодно осталась моя крестная смерть! Не может быть, клянусь тебе, Василий, всю правдой, какая есть на земле. Ах, Василий, Василий!..

Исчезли в голосе сухость и злость; мягко, почти молитвенно звучали слова:

– Только сейчас, сию минуту, я смотрел на чистое лицо моей матери, и совесть моя была спокойна. А кто с чистой совестью смотрит в лицо матери, тот не может совершить греха, хотя бы не только все люди, Василий, а сам Бог осудил его!

Долго шли молча. Колесников сказал:

– Значит, в воскресенье, того-этого.

– Да, как сказано.

Внезапно Колесников рассмеялся, правда, надтреснутым смехом, но весело и добродушно: даже детское что-то откликнулось в ночном неурочном смехе:

– Что ты?.. Какой ты... несуразный человек, Василий.

– А может, и я, того-этого, за тобой пройду? Бочком, то-

го-этого? А?

– Куда?

– Да в правду? Ну ладно, не гневайся... генерал. То подумай, что я сегодня, чего доброго, спать буду. Уж мой сапожник беспокоиться начал: уж вы, Василий Васильевич, не лунатик ли, того-этого? Ну и дурак, говорю; какой же лунатик без луны – солнцевик я, брат, солнцевик, это похуже. Прощай, Саша, до воскресенья не услышишь.

Уже один Саша вернулся домой, Колесников и провожать не пошел. Да Саша и рад был, что остался один – приятно шлось по темным, тихим улицам, где знаком был каждый забор и во мраке угадывались неровности и особенности пути. От нависших над тротуаром, облистевших дерев шел запах, такой ясный, многозначительный, зовущий, как будто он и есть весенняя жизнь; немой и неподвижный, он владел городом, полем, всею ширию и далью земли и всему давал свое новое весеннее имя. «Опоздаю на полчаса, надо же одуматься», – решил Саша, сворачивая в глухой переулок, в котором сама темнота и глушь казались запахом и весной.

Но не по совести решил Саша: не думать ему хотелось, а в одиночестве и тьме отдаться душой тому тайному, о чем дома и стены могут догадаться. Эта потребность уйти из дому и блуждать по улицам являлась всякий раз, как сестра уходила к Жене Эгмонт – и так радостно и спокойно и волнующе чувствовалось отсутствие сестры, словно в ее лице сам Саша таинственно соприкасался с любовью своею. И как поздно

Линочка ни возвращалась, Саша не ложился спать и ждал ее; а услышит звонок – непременно выглянет на минутку, но не спросит о Жене Эгмонт, а сделает такой хмурый и неприветливый вид, что у сестры пропадет всякое желание говорить, – и уйдет в свою комнату, радостный и горький, богатый и нищий.

И теперь, кружась по улочкам, Саша странным образом думал не о той, которою дышала ночь и весна, а о сестре: представлял, как сестра сидит там, догадывался о ее словах, обращенных к той, переживал ее взгляд, обращенный на ту, видел их руки на одной тетради; и мгновениями с волнующей остротой, задерживая дыхание, чувствовал всю ту не постижимую близость незаметных, деловых, рабочих прикосновений, которых не замечали и не ценили, и не понимали обе девушки. И если бы не человек, а Бог, которому нельзя солгать, спросил юношу, о чем он думает, он чистосердечно и уверенно ответил бы: думаю о Линочке – она очень милая, и я ее люблю, – и о Колесникове: он очень тяжелый, и я его не люблю. Ибо как черная мозаика в белый мрамор, так и во все думы и чувства Саши въедалось воспоминание о разговоре и связанные с ним образы; и как не знал Саша, кому принадлежат его мысли, так не понимал и того, что именно черный Колесников принес ему в этот раз спокойствие и своей тревогой погасил его тревогу. Что-то очень важное, все объясняющее, сказано, и не только сказано, а и решено, и не только решено, а и сделано, – одно это твердо знал и

чувствовал успокоившийся юноша.

Мать даже не упрекнула за опоздание – а опоздал он на целый час; и опять было хорошо, и опять читали, и яркие страницы книги слепили глаза после темноты, а буквы казались необыкновенно черны, четки и красивы.

... Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая.
Пускай персты твои, промчавшись по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес —
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез —
Они растают и прольются...

– Как ты хорошо читаешь, Сашенька! Если ты не устал...

– Нет, мамочка, не устал.

– Прочти мне «У вод вавилонских». Когда я слышу эту песнь, мне кажется, Сашенька, что все мы – бедные евреи, томимые печалью... Ты без книги?

– Я знаю так.

Саша читает, закрыв глаза, и гудят, как струны певучие, строфы:

... Повесили арфы свои мы на ивы,
Свободное нам завещал песнопенье
Солим, как его совершилось паденье;
Так пусть же те арфы висят молчаливы:

Вовек не сольете со звуками их,
Гонители наши, вы песен своих!..

Около часу пришла Линочка; и, хотя сразу с ужасом заговорила о трудностях экзамена, но пахло от нее весною, и в глазах ее была Женя Эгмонт, глядела оттуда на Сашу. «И зачем она притворяется и ни слова не говорит о Эгмонт!.. Меня бережет?» – хмурился Саша, хотя Линочка и не думала притворяться и совершенно забыла и о самой Жене, и о той чудесной близости, которая только что соединяла их. Впрочем, вспомнила:

– А меня Женя провожала, до самой калитки довела. Велела тебе, мамочка, ландышки отдать, а я и забыла. Сейчас отколю.

«Так вот где она сейчас была!» – колыхнулся Саша.

– С кем же она пошла? – равнодушно спросила Елена Петровна, равнодушно нюхая ландыши.

– Нас ее брат провожал, двоюродный, из Петербурга, он у них гостит, гвардеец, с усами. Да, родная моя мамочка! – он прямо в ужасе: как вы здесь живете? Но до того вежлив, что мне, ей-Богу, за нашу улицу стыдно стало – хоть бы разъединный поганый фонаришко поставили!

Прощаясь и целуя Сашу, Линочка сонно шепнула что-то, и показалось ему, что это о Жене Эгмонт. Сурово переспросил:

– Что ты там шепчешь?

– Тише, Сашка! Я говорю, какая наша мама красавица! Такая молодая, и глаза у нее... ах, да родной же мой Сашечка, посмотри сам глазками, я спать хочу. У-ух, глазыньки мои... геометрические.

Несмотря на вежливого гвардейца, эту ночь Саша спал спокойно и крепко.

В субботу утром под весенним и радостным дождем ходил в аптекарский магазин Малчевского – купить йодоформу, бинтов и других перевязочных средств: знал Саша, что Колесников об этом не позаботится. Вечером гимназисты назначили маевку, но Саша от участия отказался под тем предлогом, – для матери, – что не хочет видеть пьяных. Но так как после дождя погода стала еще лучше, вдвоем с Еленой Петровной гулял по берегу реки до самой ночной черноты; и опять ни о чем не догадывалась и ничего не подозревала мать. Линочка была у Жени Эгмонт и по-вчерашнему вернулась около часу, но не смеялась, а была рассеянна, задумчива, как будто чем-то расстроена. Вздыхала.

– Ты веришь в предчувствия, мама? – спросила наконец Линочка, закинув голову и вздыхая.

– Да что с тобою, Линочка?.. Какие еще предчувствия? Ну, конечно, наверно, о Тимохине опять говорили; этот несчастный Тимохин скоро всех вас с ума сведет. Говорили?

– Говорили. Но какая глупая Женя Эгмонт, я никогда от нее этого не ожидала! Впрочем, мы обе с ней плакали.

– Еще о чем?

– Ах, мама: раз плакали, значит, нужно.

Закинула голову вверх и, не мигая, смотрела на светлый круг от лампы; и влажно блестели глаза. Елена Петровна знала, что теперь от нее ничего не добьешься, и коротко сказала:

– Иди-ка ты спать лучше.

– Пусть Саша меня проводит.

Мать улыбнулась:

– Проводи ее, Сашенька.

Все так же не глядя, Линочка подставила матери щеку и устало поплыла к двери, поддерживаемая улыбающимся Сашей; но только что закрылась дверь – схватила Сашу за руку и гневно зашептала:

– Сашка! Если ты... если ты, Сашка, то ты будешь такой!..

Вот письмо, да бери же!

– Какое письмо?

– От Жени.

– Это еще зачем?

– Если ты не возьмешь, Сашка, то клянусь Божьей Матерью... Ты такой дурак, Саша, что мне даже стыдно, что ты мой брат. Ах, родной мой Сашечка, если бы ты тоже мог поклясться...

– Давай письмо.

– И ответ?.. Скорее, а то мама.

– И ответ. Завтра вечером.

Линочка быстро и крепко поцеловала брата и поплыла, как актриса, по коридорчику.

В эту первомайскую ночь Саша не ложился до рассвета. Полночи, последней, которую он проводил дома, он решал: вскрывать ему письмо или нет – и не вскрыл; полночи он писал бесконечный ответ на письмо, которого не прочел, и кончил записочкой в два слова: «Не нужно. А.П.». И так и не заметил этой ночи, последней в этой жизни, не простился с нею, не обласкал глазами, не оплакал – вся она прошла в бииении переполненного сердца, взрывах ненужных слов, разрывавших голову, в чуждой этому дому любви к чуждому и далекому человеку. И о матери ни разу не подумал, а что-то собирался думать о ней – изменил матери Саша; о Линочке не подумал и не дал ни любви, ни внимания своей чистой постели, знавшей очертания еще детского его, тепленького тела – для любви к чужой девушке изменил и дому и сестре. Только ужасной мечте своей не изменил Саша. Хоть бы на краешек, на одну линию поднялась завеса будущего – ив изумлении, подобном окаменению страха, увидел бы юноша обреченный, что смерть не есть еще самое страшное из всего страшного, приуроговленного человеку.

Но не поднялась завеса, и вовеки темным стояло будущее, таинственно зачинаясь от последнего сказанного слова.

В воскресенье...

А в воскресенье происходило следующее. Шел уже третий час ночи; накрапывал дождь. В глухом малоезжем переулке с двумя колеями вместо дороги стояла запряженная телега, и двое ожидали Сашу: один Колесников, беспокойно топтался

около забора, другой, еле видимый в темноте, сидел согнувшись на облучке и, казалось, дремал. Но вдруг также забеспокоился и певучим, молодым душевным тенорком спросил:

– Да то ли место, Василь Василич? Не прогадать бы.

– Да то самое, Петруша. Молчи, того-этого.

– Можно.

– Что можно?

– Помолчать можно. А вы бы часы поглядели, Василь Василич.

– Глядел уж. Сиди!

Место действительно было то самое, что условлено: та часть низенького, светившегося щелями забора, откуда в давние времена Саша смотрел на дорогу и ловил неведомого, который проезжает. Уже серьезно беспокоился Колесников, когда зашуршало за оградой и, царапнув сапогами мокрые доски, на верхушку взвалился Саша.

– Держи! – шепнул он сдавленно, протягивая маленький чемоданчик и нащупывая в темноте поднятые руки Колесникова.

– Заждались! – сказал Колесников, принимая.

Саша не ответил и легко спрыгнул, слегка задев его плечом.

– Здравствуй, Саша.

– Здравствуй. А это кто? – Андрей Иваныч?

– Как можно! Андрея Иваныча я вчера отправил. Это Петруша. Петруша, это ты?

Петруша засмеялся:

– Я!

– Все готово?

Когда расселись на телеге, Саша, касавшийся плеча Петруши, но все же не могший его рассмотреть, сказал:

– Ну здравствуйте, Петруша.

Колесников поправил:

– Не говори ему «вы», он не любит. Петруша! Вот тебе и атаман, того-этого. Знакомься.

– Очень рады. А как вас звать?

Саша покраснел и твердо ответил:

– Сашка Жегулев.

Петруша дернул вожжами: но, караковая! – и, подумав, сказал:

– Значит, Александр Иванович. Ну здравствуйте, Александр Иванович!

Часть 2

Сашка Жегулёв

1. Сеятель щедрый

Грозное было время.

Еще реки не вошли в берега, и полноводными, как озера, стояли пустынные болота и вязкие топи; еще не обсохли поля, и в лесных оврагах дотаивал закрупевший, прокаленный ночными морозами снег; еще не завершила круга своего весна – а уж вышел на волю огонь, полоненный зимою, и бросил в небо светочи ночных пожаров. Кто-то невидимый вызвал его раньше времени; кто-то невидимый бродил в потемках по русской земле и полной горстью, как сеятель щедрый, сеял тревогу, воскрешал мертвые надежды, тихим шепотом отворял замороженную кровь. Будто не через слово человеческое, как всегда, а иными, таинственнейшими путями двигались по народу вести и зловещие слухи, и стерлась грань между сущим и только что наступающим: еще не умер человек, а уже знали о его смерти и поминали за упокой. Еще только загоралась барская усадьба и еще зарева не приняло спокойное небо ночи, а уже за тридцать верст проснулась деревня и готовит телеги, торопливо грохочет за барским

добром. Жестоким провидцем, могучим волхвом стал кто-то невидимый, облаченный во множественность: куда протянет палец, там и горит, куда метнет глазами, там и убивают – трещат выстрелы, льется отворенная кровь; или в безмолвии скользит нож по горлу, нащупывает жизнь.

Кто-то невидимый в потемках бродит по русской земле, и гордое слово бессильно гонится за ним, не может поймать, не может уличить. Кто он и чего он хочет? Чего он ищет? Дух ли это народный, разбуженный среди ночи и горько мстящий за украденное солнце? Дух ли это Божий, разгневанный беззаконием закон хранящих и в широком размахе десницы своей карающий невинных вместе с виновными? Чего он хочет? Чего он ищет?

Мертво грохочут в городе типографские машины и мертвый чеканят текст: о вчерашних по всей России убийствах, о вчерашних пожарах, о вчерашнем горе; и мечется испуганно городская, уже утомленная мысль, тщетно вперяя взоры за пределы светлых городских границ. Там темно. Там кто-то невидимый бродит в темноте. Там кто-то забытый воеет звериным воем от непомерной обиды, и кружится в темноте, как слепой, и хоронится в лесах – только в зареве беспощадных пожаров являя свой искаженный лик. Перекликаются в испуге:

– Кто-то забыт. Все ли здесь?

– Все.

– Кто-то забыт. Кто-то бродит в темноте?

– Не знаю.

– Кто-то огромный бродит в темноте. Кто-то забыт. Кто забыт?

– Не знаю.

Грозное и таинственное время.

2. Накануне

Вечерело в лесу.

К Погодину подошел Еремей Гнедых, мужик высокий и худой, туго подпоясанный поверх широкого армяка, насупил брови над провалившимися глазами и сурово доложил:

– Александр Иванович! Построечку-то надо бы расширить, не вмещат, народу обидно.

– Ну и расширь.

– Федот работать не хочет. Я, говорит, сюда барином жить пришел, а не бревна таскать, пускай тебе медведь потаскает, а не я.

Около костра засмеялись. Петруша, смеясь, крикнул певучим, задушевым тенорком:

– Гоните-ка его, Александр Иванович. Ему говорят, завтра соорудим шалаш, не лезть же на ночь за хворостом, глаза выколешь, а он страдать: построечку да построечку!

Еремей, не глядя в ту сторону, мрачно сказал:

– Холодно без прикрышки, сдохнешь.

– Привык с бабой-то на печке! – засмеялся Федот и уже сердито добавил: – Не сдохнешь, недохнут же люди.

– Да и врет он, Александр Иванович!.. Какой холод, раз костер не угасат. А уж так, не может, чтобы знака своего не поставил землевладелец! Нынче только пришел, а уж построечку, – помещик!

Опять засмеялись у костра; ни разу не улыбнувшийся Еремей повернул прочь от Саши и привалился к огню. Еще синел уходящий день на острых скулах и широком, прямом носу, а вокруг глаз под козырьком уже собиралась ночь в красных отсветах пламени, чернела в бороде и под усами. Как замороженный, уставился он на огонь, смотрел не мигая; и все краснее становилось мрачное, будто из дуба резаное лицо по мере того, как погасал над деревьями долгий майский вечер. И будто не слышал, как про него говорил слабым голосом заморенный, чуть живой бродяжка Мамон, от голоду еле добравшийся до становища:

– Сколько я видал на земле людей, все люди, братцы, глупые. Нашему брату, вольному человеку, крыша над головой все равно, что гроб, а они этого никогда не понимают, живо хоронятся да тухнут.

Федот, молодой, по виду чахоточный парень, недоверчиво кашлянул:

– А зимой?.. То-то хорошо ты вчера пришел. Тут люди, брат, за делом собрались, а не лясы точить. Шел бы ты дальше, не проедался.

Петруша певуче поддержал:

– Равнодушный человек!.. Тут люди по всей России маются, за Бога-истину живот кладут, а он только и знает, что скулит: беспорядок, много-де стражников по дорогам скачут, моему-де хождению мешают...

И крикнул:

– Александр Иванович, надо нам такой порядок установить, чтобы как только бродяга, так его в шею. Ненужный он зверь, вроде суслика.

Бродяга покраснел от обиды и непонимания; и, хотя собирался еще денек погостить и покормиться, обиженно проворчал:

– Завтра проследую дальше. Господи, и с силой-то собраться не дадут, так и гонют, так и гонют. Много я вашего хлеба наел.

– Никто тебя не звал.

– Господи, слышу, молва идет: объявились лесные братья. Ну, а если братья, так не мимо же идти, а они, братья-то, на манер волков. И все гонют, все гонют.

Долго скулил голодный и обиженный бродяга. Под кручею шумел и дымился к ночи весенний ручей, потрескивал костер в сырых ветвях и крючил молодые водянистые листочки, и все, вместе с тихой и жалобной речью бродяги, певучими ответами Петруши, сливалось в одну бесконечную и заунывную песню. «Вот кого я люблю!» – думал Саша про Еремея, не отводя глаз от застывшего в огненном озарении сурового лица, равнодушного к шутке и разговору и так глубоко погруженного в думу, словно весь лес и вся земля думали вместе с ним. Только раз шевельнулись усы, и в Петрушину плавную речь, как камни в воду, упали громкие и словно равнодушные слова:

– Без меня меня женили, я на мельнице был.

Саша заинтересованно окликнул:

– Что ты говоришь, Еремей?

– А то и говорю: без меня меня женили.

– Это я про Государственную Думу рассказываю, – подхватил Петруша, – что решила Дума мужичкам землю дать... в газетах писали, Александр Иваныч.

Петруша был грамотный, но не столько читал газеты, которые трудно было достать, сколько произвольно сочинял; сочинив же, немедленно сам верил, что это из газет. На слова его отзывался Федот, закричав громко и гневно:

– Врут, не дадут!.. Пока тонут, топор сулят, а вынырнут – и топорища жаль., один с ними разговор, мать их...

«И на что им земля? – думал с неодобрением бродяжка, – вот дадут им землю, а они первым делом забором огородят, лазай тут. Нет, душно мне, завтра уйду».

И опять шумел в овраге ручей, и лесная глушь звенела тихими голосами: чудесный месяц май! – в нем и ночью не засыпает земля, гонит траву, толкает прошлогодний лист и живыми соками бродит по деревьям, шуршит, пришептывается, гукает по далям. Склонив голову на руки, сидел на пенечке Саша и не то думал, не то грезил – под стать текли образы, безболезненно и тихо меняя формы свои, как облака. Думал о том, как быстро ржавеет оружие от лесной сырости и какое лицо у Еремея Гнедых; тихо забеспокоился, отчего так долго не возвращаются с охоты Колесников и матрос, и сейчас же себе ответил: «Ничего, придут, я слышу их ша-

ги», – хотя никаких шагов не слышал; вдруг заслушался ручья. Но, что бы ни приходило в голову его, одно чувствовалось неизменно: певучая радость и такой великий и благодостный покой, какой бывает только на Троицу, после обедни, когда идешь среди цветущих яблонь, а вдалеке у притвора церковного поют слепцы. Или и это представлялось Саше? – Минутами и сам удивлялся тихо: не пора ли беспокойства настала, откуда же покой и радость? Хорошо бы также найти какие-то совсем особые слова и так сказать их Еремею, чтоб осветилось его темное лицо и тоска отпала от сердца, – вот и костер его не греет, снаружи озаряет, а в глубину до сердца не идет. Погоди, Еремей.

Высоким голосом испуганно закричал Петруша:

– Кто идет? Откликайся, что прешь, как медведь!

Саша схватился за маузер, стоявший возле по совету Колесникова: даже солдат может свое оружие положить в сторону, а мы никогда, и ешь и спи с ним; не для других, так для себя понадобится. Но услышал как раз голос Василия и приветливо в темноте улыбнулся. Гудел Колесников:

– Свои, свои, Петруша.

В круг от костра вступило четверо: еще мужик Иван Гнедых, однофамилец Еремей, и Васька Соловьев, щеголь; и сразу стало шумно и весело. Даже Еремей повеселел, во все стороны заулыбался и вздернул на лоб картуз.

– Много настреляли? – спросил Саша, тоже улыбаясь и за руку здороваясь с Соловьевым, которого еще не видал.

– Никак нет, Александр Иванович, – ничего, – ответил Андрей Иваныч. – Да разве с пулей можно? У меня тетерка из-под ног ушла.

– Стрелять не умеете, Андрей Иваныч, – пошутил Колесников, так как матрос был лучшим стрелком в отряде и уступал только Погодину. – Но как, Саша, чудесно, того-этого, вот вовремя на дачу выбрались.

Федот захохотал и закашлялся; во всю бороду ухмыльнулся Еремей и сказал:

– Шутят.

– Иван хлеба да селедок купил. Вонючие, того-этого. Садись, Соловьев, иль ноги не отмахались? Потом, Саша, расскажу.

Соловьев, подбористый малый, с пронзительными, то слишком ласковыми и почтительными, то недоверчивыми глазами, по манере недавний солдат, откинул полы чистенькой поддевки и сел, поблагодарив:

– Покорно благодарю, Василь Василич.

Запел Петруша:

– Нет, вы вот что скажите, Василь Василич: опять ведь баба с яйцами приходила!

Мужики засмеялись.

– Вчерась одна, нынче другая, – и откуда они, сороки, проведали? Словно и впрямь дачники понаехали. Даром, говорят, бери, а бери, назад не понесу.

– Далеко молва идет, – отозвался слабо бродяга, – я еще

где услышал! Так и говорят: у нас ничего нет, а иди, брат, к Жигалеву...

– Жегулеву, – поправил матрос.

– Жигулеву, Александру Иванычу, он тебя к делу приспособит и поесть даст. И за хлеб-соль, братцы, спасибо, а что касается дела, то уж не невольте, не по моей части кровь...

Нахмурились. Федот взмахнул кулаком и крикнул:

– Молчи, гусыня!

Бродяжка робко отстранился, бормоча:

– Меня и саратовские лесные братья уважили, меня и...

– Не тронь его, – приказал Саша, слегка покрасневший, когда упомянулось его новое имя. – Завтра он уйдет.

Колесников смотрел с любовью на его окрепшее, в несколько дней на года вперед скакнувшее лицо и задумался внезапно об этой самой загадочной молве, что одновременно и сразу, казалось, во многих местах выпыхнула о Сашке Жегулеве, задолго опережая всякие события и прокладывая к становищу невидимую тропу. «Болтают, конечно, – думал он, – но не столько болтают, сколько ждут, носом по ветру чуют. Зарумянился мой черный Саша и глазами поблескивает, понял, что это значит: Сашка Жегулев! Отходи, Саша, отходи».

А там смеялись над рассказом Ивана Гнедых, как он в селе пищу покупал:

– Говорю ему, Идолу Иванычу: для лесных братьев лучше отпущай, разбойник, знаешь, какой народ!

– Верно! – подтвердил Еремей. – Так ему и надо. А он что?

– Чтоб вы сдохли, говорит, анафемы, с вами я скоро от одного страху жизни лишусь. Да и обсчитал меня на гривенник, только в лесу я догадался, как считать стал.

Еремей молча качнул головой:

– Ах ты, поди ты – ну и сволочь же человек!

– Бесстрашный, дьявол!

– Нет, погоди!

– Надо б тебе вернуться да в морду ему плюнуть.

– Нет, погоди, – кричал Иван, – дальше-то слушай. Ка-а-к нюхну я селедку, это в лесу-то, да ка-а-к чкну: весь нос от вони разодрало! Ах ты, думаю...

Петруша забренчал балалайкой.

– Ах, душа Андрей Иванович, матросик мой отставной – игранем?

И при смехе мужиков, знавших, что Петруша в деревне оставил невесту, зачастил:

Пали снега, снега белые,

Да растаяли, —

Лучше брата бы забрили,

Милого б оставили! А – юх, йух, йух, йух!..

Колесников поманил пальцем Соловьева, с ним и с Погодиным отошел к шалашу.

– Ну, Саша: завтра. Тезка тебе расскажет, он три дня, того-этого, на путях работал, все высмотрел. Расторопный он

человек!

При слове «завтра» лицо Саши похолодело – точно теперь только ощутило свежесть ночи, а сердце, дрогнув, как хороший конь, вступило в новый, сторожкий, твердый и четкий шаг. И, ловя своим открытым взглядом пронзительный, мерцающий взор Соловьева, рапортовавшего коротко, обстоятельно и точно, Погодин узнал все, что касалось завтрашнего нападения на станцию Раскосную. Сверился с картой и по рассказу Соловьева набросал план станционных жилищ.

– Я думаю, Саша...

– Не мешай, Василь Василич! Жандарм, говоришь, здесь... – Он незаметно перешел на ты.

– Так точно. И два стражника. А вот тут телеграф... – при свете огарка не совсем уверенно бродил по бумаге короткий с черным ногтем палец.

Погодин решил: до утра своим ничего не говорить, да и утром вести их, не объясняя цели, а уже недалеко от станции, в Красном логу, сделать остановку и указать места. Иван и Еремей Гнедых с телегами должны поджидать за станцией. Федота совсем не брать...

– Отчего же? – почтительно осведомился Соловьев. – Все не лишний для начала человек.

– Слабосилен и стрелять не умеет, – сказал Колесников.

– У него ярости много, – настаивал Соловьев, – пусть на случай около выхода орет: наши идут! Кто не бежал, так убежит, скажут, тридцать человек было. Боткинский Андрон та-

ким-то способом сам-друг целую волость перевязал и старшину лозанами выдрал.

Колесников покосился:

– Да ты, того-этого, по правде говори: нигде раньше в делах не был? Чтой-то ты, дядя, много знаешь – нынче мне всю дорогу анекдоты рассказывал! Ну?

Соловьев усмехнулся и щеголевато козырнул глазами:

– Кабы где был, так уж наверняка б слышали! – Но встретил суровый взгляд Саши, съежился, точно выцвел, и заторопился. – Между прочим, можно Федота и не брать, человек они неопытный, это правда.

Решили, однако, Федота взять и даже дать ему маузер, но незаряженный: был один в партии испорченный, проглядел, когда принимал, Колесников. На том и покончили до завтра.

– Ну, ступай пока, Соловьев, – приказал Саша.

– Слушаю-сь, Александр Иванович, но, между прочим, позвольте присовокупить: с народом нашим надо поосторожнее. Слух идет... бабы эти разные... и вообще. Конечно, пока они за нас, так хоть весь базар говори, ну, а на случай беды или каких других соображений... Народ они темный, Александр Иванович!

– Ладно, ступай, – сухо приказал Саша, но встретил покорные, слегка испуганные, темные, как и у тех, глаза Соловьева и стыдливо добавил: – Иди, голубчик, я все сделаю. Нам поговорить надо.

3. Рябинушка

– Неприятный человек! – сказал Колесников про ушедшего, но тотчас же и раскаялся. – А, впрочем, шут его знает, какой он. В городе, Саша, я каждого человека насквозь, того-этого, вижу, как бутылку с дистиллированной водой, а тут столько осадков, да и недоверчивы они: мы ему не верим, а он нам. Трудно, Саша, судить.

– Привыкнут! – уверенно ответил Погодин, прислушиваясь к веселому говору около костра и улыбаясь. – Ах, Вася, чудесный какой вечер! Постой, Петруша петь хочет...

Как Елена Петровна в то жестокое утро, когда зашла, речь о губернаторе Телепневе, увидела вместо привычного Сашеньки новое и удивительное, в одно мгновение осознала и как бы сложила в сумму весь ряд незаметных перемен, – так и Колесников в эту минуту. Куда девалось все прежнее?.. Как меняется человек! Отяжелел подбородок, а лоб словно убавился, – или это костер играет тенями? Но вот что несомненно: резко очертился нос и выпуклости бровей, и четко изогнулась линия от носа к верхней губе – точно впервые появился у Саши профиль, а раньше и профиля не было. И еще: исчезла бесследно та бледная хрупкость, высокая и страшная одухотворенность, в которой чуткое сердце угадывало знамение судьбы и билось тревожно в предчувствии грядущих бед; на этом лице румянец, оно радостно радостью

здоровья и крепкой жизни, – тот уже умер, а этот доживет до белой, крепкой старости. У того была мать, благородная и несчастная Елена Петровна, а этот словно никогда не знал матери и ее слезами не плакал – и как белеют зубы в легкой улыбке! Мысленно приделал Колесников бороду к Сашиному этому лицу – получился генерал Погодин, именно он, хотя даже карточки никогда не видал. Вдохнул с укором.

– Так вот, Саша, – значит, завтра.

– Да. Завтра. Но, Василий, милый, ты хотел о чем-то говорить – не надо! Не надо вообще говорить. Ты присматривался к Еремею, нет? – Присмотрись. Он все время молчит, и я целый вечер за ним слежу: он все мне открыл. Я знаю, ты сейчас же спросишь, что открыл, а я тебе что-нибудь навру – не надо, Вася.

– Нет, не спрошу. Прости меня, Саша.

Погодин удивленно обернулся, сдвинув тени:

– За что?

– Так. За некоторые мысли, того-этого.

– Ну вот!.. Разве это не разговор? «Прости», «за мысли», – чтоб черт нас побрал, мы только и делаем, что друг у друга прощения просим. И этого не надо, Василий, уверяю тебя, никому до этого нет дела. Не обижайся, Вася, я, честное слово, люблю тебя... Постой, идем ближе, поют!

«Кость бросил, чтобы отвязаться: любит, да еще „честное слово!“ – горько думал Колесников, идя за Сашей. И вдруг обозлился на себя: „Да я-то что? Разве не весело? – разве не

поют? Эх, да и хорошо же на свете жить, пречудесно!”

Жить было пречудесно, и это знала вся ночь. Полыхал костер, и тени плясали, взвивались искры и гасли, и миллионы новых устремлялись в ту же небесную пропасть; и ручей полнозвучно шумел: если бросить теперь в него чурку, то донесет до самого далекого моря. Притихли мужики, пригревшись у огня, и, как нечто самое серьезное и важное, слушали подготовительные переборы струн и певучую речь радостно взволнованного Петруши. Веснушчатое, безусое лицо его покраснелось, серые, почти ребячьи глаза сладко щурились; в обеих руках нежно, как пушинку, держал он матросикову балалайку с разрисованной декой и стонал:

– Ах, ну и балалаечка! Ну и балалаечка! Это инструмент, эта уж до самой смерти заговорит, эта уж не выпустит, н-е-т!

Иван серьезно и с участием спросил:

– Завидно, Петруша?

– Ка-а-кая зависть!

Андрей Иваныч протянул руку за балалайкой, но Еремей остановил его:

– погоди, матрос! Дай подержаться. Не съест твоего инструмента.

Наконец сыгрались обе балалайки. В тихом переборе струн, в кроткой смиренности их однозвучия – что бы ни говорили слова – не пропадала чистая, почти молитвенная слеза: дали и шири земной кланялся человек, вечный путник по высям заоблачным, по низинам сумеречно-прекрасным.

Как бы далеко ни уходили слова – дальше их уносила песня; как бы высоко ни взлетала мысль – выше ее подымалась песня; и только душа не отставала, парила и падала, стоном звенящим откликалась, как перелетная птица... «Боже мой – и это не во сне? – думал Саша. – И это не церковь? И это музыка? Но ведь я же не понимаю музыки, я бесталанный Саша, но теперь я все понял!»

Сидел, склонив голову, обеими руками опершись на маузер, и в этой необычности и чудесной красоте ночного огня, леса и нежного зазыва струн самому себе казался новым, прекрасным, только что сошедшим с неба – только в песне познает себя и любит человек и теряет злую греховность свою. Радостно оглянулся на Колесникова – и у того преобразилось лицо, в глазах смешное удивление, а весь, как дитя, и не одинок уже, хотя близок к слезам и бороду дергает беспомощно. А дальше Еремей – ест горящими глазами певцов и истово кланяется дали и шири земной; серьезен, как в смерти, не шевельнется, словно летит – для него это не шутки. А дальше...

– Рябинушку! – коротко кинул Андрей Иванович, – уже не матрос, а власть чудесную имеющий; перебрал пальцами, тронул душу балалайки и степенным, верующим баском начал:

– Ты, рябинушка, ты, зеленая...

По низу медлительно и тяжело плывут слова; оковала их земная тяга и долу влечет безмерная скорбь, – но еще не дан ответ, и ждет, раскрывшись, настороженная душа. Но ахает Петруша и в одной звенящей слезе раскрывает даль и ширь, высоким голосом покрывает низовый, точно смирившийся бас:

– Ах! – ты когда выросла, ах, когда выросла...

«Это я, рябинушка, – думает каждый. – Это я та рябинушка, та зеленая, и про меня это спрашивают: ты когда выросла, когда выросла».

– Ты, рябинушка...

Что это? – оглянулись все. А это Колесников запел. Сви-репо нахмурился, злобно косит круглым глазом и на свой могучий голос перенял у матроса безмерную скорбь и тягу земли:

– Ты, рябинушка, ты, зеленая...

Что-то грозное пробежало по лицам, покраснелось в буйном пламени костра, взметнулось к небу в вечно восходящем потоке искр. Крепче сжали оружие холодные руки юноши, и вспомнилось на мгновение, как ночью раскрывал он сорочку, обнажал молодую грудь под выстрелы. – Да, да! – закри-

чала душа, в смерти утверждая жизнь. Но ахнул Петруша высоким голосом, и смирился мощный бас Колесникова, и смирился гнев, и чистая жалоба, великая печаль вновь раскрыла даль и ширь.

– Ах – да когда же ты, ах – да покраснелась?

Ах, когда же ты покраснелась...

Подтягивает и бродяжка слабым тенорком, вместе с Петрушей отвечает Колесникову и словно борется с ним. Едва слышно его за сильным и высоким голосом Петруши, но все одобрительно улыбаются: это хорошо, что он подтягивает. И снова вступает точно осиливший бас, и смолкают покорно высокие голоса:

– Я, рябинушка, покраснелась...

«Обо мне! – думает каждый и, замирая, ждет ответа. И в звонкой печали отвечает задушевный голос, в последний раз смертельно ахнув:

– Ах! – да поздней осенью – ах, да под морозами.

Ах, поздней осенью, под морозами.

Было долгое молчание, и только костер яростно шумел и ворочался, как бешеный. Луна восходила: никто и не заметил, как посветлело и засеребрились в лесу лесные чудеса. Ере-

мей тряхнул головой и сказал окончательно:

– Хорошо у нас поют.

А Саша уволок в серебро ветвей распрямившегося Колесникова и в волнении, первый раз открыто выражая свой восторг, тряс его опущенную тяжелую руку и говорил:

– Да как же это, Василий!.. Ведь у тебя такой голосили ты сам не знаешь, чудак!

Колесников, все еще свирепый, тяжело водя грудью, с гордостью ответил:

– Знаю. Так что?

– Да ведь с таким голосом... Боже мой, Вася! Ты мог бы... У тебя слава, чудак!

– Мог бы. Ну?

Подошел Андрей Иваныч и развел руками:

– Ну, Василь Василич, благодарю. Как рывкнули вы у меня над ухом – что такое, думаю, дерево завалилось? Да и свирепо же вы поете...

– Разболтались вы, Андрей Иваныч! – сердито сказал Колесников.

– Да всякий разболтается! Иван до чего додумался? Леший, говорит, с ним ночью страшно.

В несколько дней закосматевший Колесников, действительно похожий на лешего, вдруг закрутился на четырех шагах и загудел, как труба в ночную выюгу:

– Стыдно вам! Стыдно вам! Чему удивились, того-этого? Боже ты мой, какое непонимание! Как вдовица с лептой, то-

го-этого, хоть какое-нибудь оправдание, а он в нос тычет: слава, того-этого! Преподлейший вздор, стыдно! Ну леший и леший, в этом хоть смысл есть... да ну вас к черту, Андрей Иванович, говорил: оставьте балалайку. Нет, не может, того-этого, интеллигент!

Не зная, пугаться ему или смеяться, матрос тихо сбежал; а Саша поймал за руку кружившегося Колесникова и сказал:

– Нет уж, видно, никак нам не избавиться, чтобы не просить прощения. Прости меня, Вася.

И крепко, прямо в губы поцеловал его. Колесников, будто с неохотою принявший поцелуй и даже пытавшийся отвернуться, сжал до хруста в костях Сашину руку и прошептал в ухо:

– Саша! Завтра идти. Саша, знай одно: грудью перед тобою стану. Ладно, точка, молчи, тебе говорю! Айда к нашим – сейчас плясать будем! Ходу!

И гулко загоготал, пугая ночную птицу:

– Го-го-го!

Видимо, понравилось быть лешим; да и просила душа простору. На что широк был лес, а и он стал тесен после тех далей, что открылись взору душевному; зыгрались невыплаканные слезы, и сладкою отравой, как вино, потекла по жилам крепкая печаль, тревожа тело. Вдруг жарок стал костер, и тяжестью повисла одежда на поширевших плечах: в сладкой и истомной тревоге шевелились мужики и поахивали. Кто лежал раньше, тот сел; а кто сидел – поднялся на но-

ги, расправляет спину, потягиваясь и неправдиво позевывая. Широко расставив ноги в блестящих сквозь грязь сапогах и заложив за спину под поддевкой руки, раздраженно поплеывает в огонь Васька Соловьев, томится той же жаждою. Обернулся на гиканье подходящего Колесникова и усмехается криво: жуткая душа у Васьки Соловьева.

Заахал восторженно Петруша:

– Ах, ну и голосок же у вас, Василь Василич; смола горящая!

Иван Гнедых, шутник, сморщил смешливо печеное свое лицо и поправил:

– Для грешников смола, а праведнику на многие лета. Поджарый ты, Василий, тебе бы в дьяконы идти, а не с нами околачиваться, вот бы брюхо и отрастил, чудак человек, ей-Богу, на этом месте провалиться!

Еремей сурово крикнул:

– Пусти, бродяжка, что разлегся! Место ослобони для Александра Иваныча. Сюда иди, Александр Иваныч!

Бродяжка, после пения отошедший душою и заулыбавшийся, снова скис: «И все гонют, и все гонют...»

– Спасибо, Еремей, я постою. Ну-ка, Андрей Иваныч, плясовую. Вася, не ерпенься, Вася, не косись!

Мужики засмеялись дружелюбно: все еще словно не отошел Колесников и неуживчиво ворочал глазами, но при словах Саши и мгновенном блеске белых зубов его захохотал и топнул ногою:

– Пожарче, Андрей Иваныч!

Ошибался Колесников, когда боялся для себя леса: если и уподобился он лесу, то лишь в его свободной силе и дикой статности. На городских улицах, в своих вечно шлепающих калошах и узком пальто, стягивающем колени, он был неуклюж и смешон и порою жалок: другой он был здесь. От высоких сапог сузился низ, а плечи раздались, развернулась грудь; и широкий тугой пояс с патронами правильно делил его туловище на две половины: одну для ходу, другую для размаха и действия. И только одно было совсем уж не у места: полосатая велосипедная шапочка, – но ничего не поделаешь с заблуждением!

Но не две ли души у балалайки? Так удивительно, что на одних и тех же струнах может звучать столь разное. Еще сле-за не высохла, а уж раскатывается смешок, тихим шепотом зовет веселье, воровской шутливою повадкою крадется к тому самому месту, где у каждого человека таится пляс. Как на ниточках, подергивается душа, а под коленом что-то сокращается, и чем больше дергает и чем резвее сокращается, тем степеннее бородатые и безбородые лица. Это не цыганский злой разгул, когда в страсти каменеет и стынет лицо, – тут хитрая усмешка, чудесная недоговоренность и тонкая граница: все дал, а могу и еще! Все тронул, а могу и еще! Глухой подумает, что вот и наступило когда настоящее горе, а слепой – тот и сам задрыгает ногами: так строги и степенны лица при ярко-звонком гуле струн.

Все чаще и круче коварный перебор; уж не успевает за ним тайный смех, и пламя костра, далеко брошенное позади, стелется медленно, как сонное, и радостно смотреть на две пары быстрых рук, отбрасывающих звуки. Не столь искусный Петруша еще медлителен: пальцы нет-нет, да и прилипли, а матрос так отхватывает руку, словно под нею огонь; и еще позволяет улыбнуться своим глазам неопытный Петруша, а Андрей Иваныч строг до важности, степенен, как жених на смотринах. И, только метнув в сторону точно случайный взгляд и поймав на лету горящий лукавством и весельем глаз, улыбнется коротко, отрывисто и с пониманием, и к небу поднимет сверхравнодушное лицо: а луна-то и пляшет! – стыдно смотреть на ее отдаленное веселье.

«Да что же это? Вот я и опять понимаю!» – думает в восторге Саша и с легкостью, подобной чуду возрождения или смерти, сдвигает вдавившиеся тяжести, переоценивает и прошлое, и душу свою, вдруг убедительно чувствует несходство свое с матерью и роковую близость к отцу. Но не пугается и не жалеет, а в радости и любви к проклятому еще увеличивает сходство: круглит выпуклые, отяжелевшие глаза, пронзает ими безжалостно и гордо, дышит ровнее и глубже. И кричит атамански:

– Соловьев! Выходи.

Торопливые голоса подхватывают:

– Васька! Соловей, выходи. Оглох, что ли! Выходи, Васька!

Колесников, выдвинувший плечо и глухо притоптывающий с носка на каблук, подбоченился правой рукой и ждет: плясать он не может, тяжел, но сам бог пляса не явил бы в своей позе столько дикой выразительности. Кричит свирепо:

– Выходи, Соловьев, девки ждут!

– Про девок вы напрасно, Василь Василич... – говорит Соловьев щеголевато и, не договорив, соколом вылетает в готовый круг, легко отбрасывает Ивана, старательно приминающего невысокую травку, и дает крутого плясу. Жуткая душа у Васьки Соловьева, а пляшет он легко и невинно, кружит, как птица, и, екнув, рассыпается в дробь, и снова плывет, не касаясь земли:

Д-эх, милашка моя-т,
Распотешь-ка меня-т,
У тебя широкий пояс,
Подпояшь-ка меня-т!..
Эх!..

И талантливо содействует вновь воскресший бродяга: засунул четыре пальца в рот и высвистывает пронзительно, режет воздух под ногами у пляшущего. Спуталось что-то в плывущих мыслях бродяги, и уже кажется, что не бродяга он мирный, чурающийся крови, а разбойник, как и эти, как и все люди в русской земле, жестокий и смелый человек с крутою грудью и огненным пепелящим взором. Встают в обширной памяти его бесчисленные зарева далеких пожаров –

близко не подходил к огню осторожный и робкий человек; дневные дымы, кроющие солнце, безвестные тела, пугающие в оврагах своей давней неподвижностью, – и чудится, будто всему оправданием и смыслом является этот его пронзительный свист. Совсем под конец запутался бродяга, смотрит на Погодина и думает наскоро: «Ах, да и хорош же у нас атаман, даром, что молод! – картина!»

Все чаще переборы струн, все неистовее пляс, уже теряющий невинность свою в сочетании с злым свистом, – и глубже раскрывается ночь в молчании и ненарушимой тайне. Пригасает забытый костер, и ложатся тревожные тени, уступая место черным, спокойным и вечным теням луны; взошла она в зените и смотрит без волнения. Отойдешь на шаг от пляшущих – и уже тихо; а на версту уйдешь – ничего, кроме леса, и не слышно. А на опушку далекую выйдешь, – томится у края земли еле видимое в луне зарево: не дождался кто-то Сашки Жегулева и на свой разум пустил огонь. Кто-то невидимый бродит по русской земле; кто-то невидимый полной горстью, как сеятель щедрый, сеет в потемках тревогу, тихим шепотом отворяет замороженную кровь.

В эту ночь, последнюю перед началом действия, долго гуляли, как новобранцы, и веселились лесные братья. Потом заснули у костра, и наступила в становище тишина и сонный покой, и громче зашумел ручей, дымясь и холодея в ожидании солнца. Но Колесников и Саша долго не могли заснуть, взволнованные вечером, и тихо беседовали в темноте шала-

шика; так странно было лежать рядом и совсем близко слышать голоса – казалось обоим, что не говорят обычно, а словно в душу заглядывают друг к другу.

– Да, Саша, – тихо повествовал Колесников, – голос у меня и тогда был славный, он так его и называл: американский, того-этого. Да и ученье у меня шло успешно, пустяки, в сущности, ну и авансы он мне предлагал, вообще готовился барышничать мной, как лошадью...

– А ты мне соврал, что и петь не умеешь, – улыбнулся голосом Саша.

– А то так надо было: «Сей колокол, того-этого, пожертвован ветеринарным врачам Василием Васильевым Колесниковым в лето...»

Оба засмеялись. Колесников продолжал:

– Раз я и то промахнулся, рассказал сдуру одному партийному, а он, партийный-то, оказалось, драмы, брат, писал, да и говорит мне: позвольте, я драму напишу... Др-р-раму, того-этого! Так он и сгинул, превратился в пар и исчез. Да, голос... Но только с детства с самого тянуло меня к народу, сказано ведь: из земли вышел и в землю пойдешь...

Саша улыбнулся:

– Хоть и из другой оперы, а верно.

– И создал я себе такую, того-этого, горделивую мечту: человек я вольный, ноги у меня длинные – буду ходить по базарам, ярманкам, по селам и даже монастырям, ну везде, куда собирается народ в большом количестве, и буду ему петь

по нотам. Год я целый, ты подумай, окрылялся этой мечтой, даже институт бросил... ну, да теперь можно сказать: днем в зеркало гляделся, а ночью плакал, как это говорится, в одинокую подушку. Как подумаю, как это я, того-этого, пою, а народ, того-этого, слушает...

Колесников замолк. В щель глянул диск луны и потянул к себе. Саша зажмурился и спросил:

– Ну?

– Ну – и с первого же базара меня повезли, того-этого, в участок и устроили триумф: если хотите, того-этого, петь по нотам, то вот вам императорский театр, пожалуйста! «А если без нот, того-этого?» А если без нот, то будет это нарушение тишины и порядка, и вообще вам надо вытрезвиться... Шу-чу, но в этом роде нечто было, сейчас стыдно вспомнить. Но вытрезвили.

– Теперь попоешь, Вася.

– Попою уж. Тебе не холодно?

– Нет. Ты как мама.

– Мне сорок лет, а ты мальчишка.

– Мне и то странно было, что я тебе «ты» говорю. Я всю ночь не засну, я очень счастлив, Вася. «Ты, рябинушка, ты, зеленая...» И что удивительно: ведь я мальчишка, и такой и есть, и вдруг я почувствовал в себе такую силу и покой, точно я всего достиг или завтра непременно достигну. Отчего это, Василий?

– Оттого, что за народом стоишь. Трудно на этот поста-

мент взобраться, а когда взберешься и подымет он тебя, то и стал ты герой. И я сейчас твою силу чувствую.

– Какая огромная Россия! Закрою глаза, и все мне представляются леса, овраги, реки, опять леса и поля. «Ты, рябиனுшка, ты, зеленая...» Сейчас мне ничего не стыдно: скажи, Василий, ты веришь, что наш народ – великий народ?

– Верю.

– Что бы то ни было?

– Что бы то ни было.

– Ну ладно, так помни. Знаешь, Вася, я даже о маме...

– Молчи, не надо. Спи.

– Нет, ничего. Я даже о маме думаю без всякой боли, но это не равнодушие! Но думаю: ведь не одна она, отчего же ей быть счастливее других? Впрочем... Правда, не стоит говорить. Не стоит, Вася?

– Не стоит. Спи, Сашук.

– Сплю. «Ах, когда же ты покраснелась? Я, рябиனுшка, покраснелась поздней осенью, под морозами...» Вася?

Но Колесников не ответил. А через час он услышал, что Саша подымается и лезет к выходу, и спросил:

– Куда ты?

– Спи, ничего. Я хочу подбросить сучьев в огонь, им холодно.

Уже светало. И не знал Саша, что он провел без сна единственную в своей короткой жизни ночь, которую мог спать спокойно.

4. Первая кровь

Белый, курчавый, молоденький, лет восемнадцати телеграфист вдруг опустил, словно от усталости, поднятые вверх руки и бросился к выходу. Опустилось и еще несколько рук, и в затихшей было комнате зародилось движение. Колесников, возившийся около кассы, отчаянно крикнул:

– Стреляй, Саша!

Погодин выстрелил. Точно брошенный, телеграфистик вдавился в дверь, ключа которой так и не успел повернуть, мгновение поколебался в воздухе и, как живой, ринулся обратно на Сашу, – так остро была подрезана жизнь. Но уже по низу летел он, а потом мякотью лица проехал по полу и замер неподвижно у самых ног убийцы. За ухом взрылось что-то очень страшное, красное, исподнее и замочило русые кудряшки, но ворот шитой шелками косоворотки оставался еще чистым – как будто не дошло еще до рубашки ни убийство, ни смерть.

В зале III-го класса и на перроне царил ужас. Станция была узловая, и всегда, даже ночью, были ожидающие поездов, – теперь все это бестолково металось, лезло в двери, топталось по дощатой платформе. Голосили бабы и откуда-то взявшиеся дети. В стороне первого класса и помещения жандармов трещали выстрелы. Саша, несколько шагов пробежавший рядом с незнакомым мужиком, остановился и

коротко крикнул Колесникову:

– На пути!

Прыгнули. Сразу потемнело, и под ногами зачастили, точно лоя, поперечные рельсы; но уже и тут, опережая, мелькали темные, испуганные молчаливые фигуры; двое, один за другим, споткнулись на одном и том же месте и без крика помчались дальше.

Носился по путям с тревожными свистками паровоз; и так странно было, что машина так же может быть испугана, может метаться, кричать и звать на помощь, как и человек. Дохнув тяжестью железа и огня, паровоз пробежал мимо и вмешался в пестроту стрелочных фонариков и семафоров, жалобно взывая.

– Стой! – остановился Саша. – Деньги?

– Здесь. Задохнулся. Надо помочь!

– Это стражники стреляют. Передохни.

Он поднял маузер и три раза выстрелил вверх.

– Айда!

С полчаса колесили по путям – в темноте словно перевернулся план и ничего не находилось.

С размаху влетели в темный коридор, тянувшийся между двумя бесконечными рядами товарных молчаливых вагонов, и хотели повернуть назад; но назад было еще страшнее, и, задыхаясь, пугаясь молчания вагонов, бесконечности их ряда, чувствуя себя, как в мышеловке, помчались к выходу. Сразу оборвался ряд, но все так же не находилась дорога.

Колесников начал беспокоиться, но Погодин, не слушая его, быстро ворочал вправо и влево и, наконец, решительно повернул в темноту:

– Прыгай, Василий, тут канава.

– Где? Я совсем ослеп! – И ухнул тяжело, как мешок с мукой.

Потянулся бесконечный заборчик, потом опять канава, и, как темная пахучая шапка, надвинулся на голову лес и погасил остатки света. За деревьями, как последнее воспоминание о происшедшем, замелькали в грохоте колес освещенные оконца пассажирского поезда и ушли к станции.

– Вовремя! – засмеялся Погодин.

– Да туда ли идем?

– Туда.

Дорогой Саша несколько раз принимался возбужденно смеяться и повторял:

– Как я его! Василий, а? Как я его? Я уж раньше заметил, что он пошевеливается и смотрит в окно... Нет, думаю! И какой хитрый мальчишка, ведь мальчишка совсем, а?

– Мальчишка. И черт его дернул, нужно было лезть!

– И черт его дернул, правда! А тут ты кричишь...

– Я не успел бы.

– Знаю, да я уж и поднял маузер, когда ты крикнул. – Саша снова рассмеялся, и уже трудно становилось слышать этот плещущийся, словно неудержимый смех. – Нет, как я его!.. Василий, а?

– Не болтай, того-этого; дорогу-то знаешь?

– Знаю. Я даже не поверил, что он убит, как он на меня кинулся. Ты как думаешь, сколько ему лет?

– Ну что, оставь! Сразу видно было, что убит.

– Тебе сразу видно, а я не поверил. Вася?

– Ну что?

– Вот я и убил человека: как просто!

И опять засмеялся:

– Убить просто, а раньше нужно долго...

«Да и потом нужно долго, – мысленно закончил Колесников, – нет, плохой ты атаман, ведешь без дороги, а сам, того гляди, в истерику... с другой же стороны, и хорошо, что так начал, сразу в омут». Но оказалось, что Саша вел верно, и уже через пять минут засветлела опушка, и испуганный голос окликнул:

– Кто идет?

– Жегулев.

Колесников даже обернулся: Саша ли это сказал? – так тяжело и резко прозвучало слово. А тут обрадовались и радостно заволновались, и Петрушка пел, как на именинах:

– Александр Иванович, Василь Василич, да вы ли это? А мы уж думали...

– Андрей Иванович, это вы? Все здесь? – перебил его Саша и, схватив руку матроса, долго и с каким-то особым выражением пожимал ее.

– Так точно, все.

– Ну как, Андрей Иванович, голубчик, я так рад, что вижу вас.

– Благодарствуйте, Александр Иванович, благополучно. Мы...

Колесников толкнул его под руку, и он в недоумении замолчал, а Соловьев сухо и четко промолвил:

– Жандарм оказал сопротивление, и я его прикончил. А стражники, как сидели в комнате, так и не вышли, через дверь стреляли.

Все засмеялись, возбужденные, взволнованные, как всегда волнуются люди, когда в обычную, мирную, плохо, хорошо ли текущую жизнь врывается убийство, кровь и смерть. И только Соловьев смеялся просто и негромко, как над чем-то действительно смешным и никакого другого смысла не имеющим; да и не так уж оно смешно, чтобы стоило раздирать рот до ушей!

Смеясь и бросая отрывистые фразы, торопливо рассаживались, как раньше было уговорено. На Иванову телегу, запряженную двумя конями, сели матрос, Соловьев и Петруша, а к Еремею – Саша и Колесников; и знакомый с местами и дорогами Соловьев наскоро повторял:

– Так помни же, Ерема: через Собакино на Троицкое, на Лысом косогоре не сбейся, бери налево от дубка...

– Да знаю, чего там. Трогай!

– На шоссе передышку сделаешь, слышь?

– Да слышу.

– Трогай. Эй, голубчики!

С версту обе телеги тряслись вместе, и на задней телеге молчали, а спереди, где шел в голове Соловьев, доносился говор и смех. Вдруг передние круто рванули влево, и Соловьев из мрака бросил:

– Значит, до утра прощайте. Никаких приказаний не будет, Александр Иваныч?

– Нет, поезжай.

– Прощайте, Василь Василич. Смотри, Еремей, не сбейся, держи глаз остро! – и что-то добавил тихо, от чего на той телеге засмеялись.

Смолкло.

Молча кружились то по лесу, то среди беззащитного поля и снова торопливо вваливались в темень, хрюскали по сучьям, на одном крутейшем косогоре чуть не вывалились, хотя Еремей и ночью, казалось, видел, как днем. И чем больше завязывали узлов и петель, тем дальше отодвигалась погоня и самая мысль о ней. Что-то засветлело, и Еремей сказал:

– Шаше. Надо мост переходить, будь бы летом, так брод есть, а теперь крутить. Да нас теперь, два года скачи, не догонишь, разве только ворона так летает, как я вез.

Колесников крякнул:

– Все бока обломало, того-этого. Саша, ты жив?

– Жив.

– Такой экипаж, мать...

Еремей матерно выругался; да и вообще через каждые

пять слов в шестое он вставлял ругательство, но не бессмысленно и вяло, как это делается по простой привычке, а с озлоблением и даже яростью, заметно растущей к концу каждой фразы.

– А много денег взяли, Василь Василич?

– Не считано. На избу хватит.

Дернуло спину, потом вдавило живот – и ровно застучали колеса по белому камню: въехали на шоссе. Лошадь пошла шагом, и сразу стало тихо, светло и просторно. В лесу, когда мчались, все казалось, что есть ветер, а теперь удивляла тишина, теплое безветрие, и дышалось свободно. Со всем незнакомое было шоссе, и лес по обеим сторонам чернел незнакомо и глубоко. Еремей молчал и думал и, отвечая Колесникову, сказал:

– Какая тут изба, когда свою сжечь, так и то впору. Мне твоих денег не надо, да нехай им... А ты бы, милый человек, раз напрямки дело пошло, станцию бы лучше запалил. Спичек пожалел, что ли?

– Чудак человек, да как же ее запалишь, это тебе не твоя солома! Слышишь, Саша?

Погодин не ответил.

– И ехать светлее было бы! Вон от восковой свечки вся Москва, рассказывают, сгорела, а ты: солома! Сами знаем, что не солома. А ты инструмент имей, раз напрямки дело пошло, на то ты и учен, чтобы инструмент иметь.

Саша молчал, как неживой, и тихо было. Еремей обернул-

ся совсем и бросил вожжи. Скулы его еще светлели, а под козырьком, где глаза, не было ни взгляда, ни человеческого, как будто – один стоячий мрак. Хмыкнул:

– Ты на плотника погляди, какое его дело? А и то мешок за спиной с инструментом. А ты: пистоля! Много с твоей пистолей делов сделаешь, и похвастать нечем.

Колесников хмыкнул ответно:

– Гм! Чего же тебе надо: бомбы?

Еремей еще с минуту подержал свой загадочный мрак перед глазами Колесникова, отвернулся и ответил неопределенно:

– И ехать светлее было бы, а то что! Не знаю, как это повашему: бомбы так бомбы, мне все равно. Но, проклятая!

Мост был полукаменный, высокий, и подъем к нему крутой – Колесников и Саша пошли пешком, с удовольствием расправляясь. Восходила вчерашняя луна и стояла как раз за деревянными перилами, делясь на яркие обрезки; угадывалось, что по ту сторону моста уже серебрится шоссе и светло.

– Я думаю, теперь не нагонят, – сказал Колесников, – а ты как думаешь, Саша?

– Я то же думаю.

На гулком мосту остановились, и Саша наклонился над перилами, точно окунул голову в воздух и низкий басовый хор лягушек. Среди лугов и свисшего лозняка уходила в небо неширокая вода, и когда плюнул подошедший Колесников, шлепок звякнул, как ладонь по голому телу.

– Что за речонка? Ты по карте не помнишь, Саша?

– Нет.

– Лягушки-то стараются.

Сказал это Колесников и подумал, что не только он, а и вся ночь не верит в то, что произошло на станции, и никогда не поверит. И никогда, даже в ту минуту, как под его рукой упал убитый энский губернатор, ни в другие, казалось, более тяжелые минуты не испытал Колесников такого ясного и простого чувства сердечной боли, как теперь, над сонною рекой, когда кричали лягушки. Позади чиркнула спичка, закуривал Еремей.

– Ты бы закурил, Саша, или папиросы забыл?

– Нет, не забыл. Не хочу.

Но подумал и, вынув портсигар, закурил, – Колесников стыдливо отвернулся от осветившегося на миг страшного лица; и оба, казалось, с интересом следили за брошенной спичкой: зашипит или нет. Не зашипела, или не слышно было. Колесников шепотом спросил:

– Тебе ужасно больно, Саша?

Саша молчал. Потом вынул папиросу изо рта, как-то деловито скрипнул крепкими зубами и снова положил папиросу.

– Мальчик ты мой! – шептал Колесников, почти плача. – Как ты вчера радовался... Я понимаю тебя, Саша, но ведь должны же страдать и невинные. Я сам убил человека, и, ей-Богу, он не был виноватее твоего телеграфиста. И имен-

но невинные-то и должны страдать, помни это, Саша. Когда грешный наказывается, то молчит земля, а гибнет невинный, то не только земля, а и небо, брат, содрогается, солнце меркнет. Скажу тебе нечто, от чего ты, пожалуй, содрогнешься: люди кричат, а я радуюсь, когда вешают невинного, именно невинного, а не подлеца какого-нибудь, которому веревка, как мать родная!

Нетерпеливо топтался на мосту Еремей, но тактично, не хотел мешать, понимал важность тихого, в шепот, разговора: «о мамаше говорит!»

Гудел Колесников:

– А сам-то ты, мальчик, не невинен? И разве я что тебе говорю: не мучься? Нет, мучься, сколько есть у тебя муки, всю отдай, иначе был бы ты подлец, и смысла б в тебе не было, хоть головой в воду! Этим ты землю потрясешь, Саша, совесть в людях разбудишь, а совесть – я мужик нехитрый, Саша, – она только и держит народ. Будь ты распро-Рим или распро-Греция, а без совести пропадешь, того-этого, как кошка, и будет место твое пусто! Но, мучась, не падай, Саша, – зато смерть, когда она подойдет к тебе и в глаза заглянет, примешь ты с миром. Клянусь тебе, мальчик.

Саша тряхнул головой и несколько раз быстро закрыл глаза, точно протирая их; выдохнул с шумом воздух, в одном вздохе соединяя множество их. Едва ли он слышал все, что говорил Колесников, но было в самом голосе отпускающее. И сказал:

– Ладно, Василий. Буду жить и мучиться – так, что ли? И тоже клянусь тебе...

Закричал Еремей:

– Скачут! Эх, теперь и до лесу не догонишь, беда!

И в смутном, как сон, движении образов началась погоня и спасание. Сразу пропал мост и лягушки, лес пробежал, царапаясь и хватая, ныряла луна в колдобинах, мелькнула в лунном свете и собачем лае деревня, – вдруг с размаху влетели в канаву, вывернулись лицом прямо в душистую, иглистую траву.

– Теперь ушли! Теперь ищи ветра в поле! – говорил Еремей, подымая телегу, а Колесников хохотал и тер лицо:

– Всю рожу зазеленил, того-этого, совсем теперь лешим стал. Еремей! Леший какой в ваших местах: зеленый?

– А как раз такой, как вы, покрасивше, пожалуй.

Смеялся и Саша: и его опьянила погоня. Но, видно, еще не совсем ушли: снова заметалась луна и заахали колдобины, и новый лес, родной брат старого, сорвал с Колесникова его велосипедную шапочку, – но такова сила заблуждения! Остановил лошадь и в темноте нашарил-таки свое сокровище. А потом сразу угомонила луна и тихо поплыла по небу, только изредка подергиваясь, но тотчас же и снова оправляясь; и уже в настоящем полусне, в одно долгое и радостное почему-то сновидение превратились поля, тающие в неподвижном свете, запахе пыли и грибной сырости, обремененные крупным майским листом, сами еще не окрепшие ветви.

Где-то остановили лошадь и телегу, и опять брехали собаки: и, продолжая сновидение, втроем зашагали в серебротканую лесную глубину его, настолько утомленные, что ноги отдельно просили покоя и сна, и колени пригибались к земле. Потом неистово закричал назябшийся, измученный одиночеством и страхом Федот, которого-таки не взяли с собой.

И вот уже вчерашний, но теперь навсегда другой шалашик: стал он домом и родным приютом. И крепкий до полудня сон, глухой снаружи, но беспокойный внутри в своих томительных позовах воскресит разорванную, окровавленную, точно чьими-то когтями в клочки изодранную явь. Не слышали, как пришли вконец измученные Андрей Иванович с товарищами, потоптались у пылающего огня – и молча завалились спать. К утру и совсем успокоился Саша: к нему пришла Женя Эгмонт и все остальное назвала сном, успокоила дыханием, и ужасным, мучительным корчам луны дала певучесть песни, – а к пробуждению, сделав свое дело, ушла из памяти неслышно. С улыбкой проснулся Саша.

Но с этого дня в его душу вошел и стал навсегда новый образ: падающий к его ногам телеграфистик с русыми кудряшками, кровавая яма возле уха и ворот чистенькой, расшитой косоворотки. Так стал убийцею Саша Погодин, отныне воистину и навсегда – Саша Жегулев.

За короткое время, не больше, как за месяц, шайка Жегулева совершила ряд удачных грабежей и нападений: была ограблена почта, убит ямщик и два стражника; потом тро-

ицкое волостное правление, причем сами уже мужики, не участвовавшие в шайке, насмерть забили старшину и подожгли правление, хотя поджог грозил явной опасностью самому селу; да так и вышло: полсела под пеньки да под трубы подчистил огонь. Дотла опустошили и сожгли две экономии и помещика с братом нагнали и зарезали в лесу, а управляющего повесили на воротах; разбили винную лавку, и мужики, перепившись, подожгли-таки дом, и опять жестоко пострадало село.

Что здесь шло до Жегулева, а что родилось помимо его, в точности не знал никто, да и не пытался узнать; но все страшное, кровавое и жестокое, что в то грозное лето произошло в Н-ской губернии, приписывалось ему и его страшным именем освещалось. Где бы ни вспыхивало зарево в июньскую темень, где бы ни лилась кровь, всюду чудился страшный и неуловимый и беспощадный в своих расправах Сашка Жегулев.

И уже стал он появляться одновременно в разных местах, и сбились с ног власти, гоня стражников и солдат на каждое зарево, вечно находя и вечно теряя его след, запутанный, как клубок размотавшейся пряжи. Только что был, только что ушел, только что, только что-куда ни придешь, все только что, и след его дымится, а самого нет. И если искал его друг, то находил так быстро и легко, словно не прятался Жегулев, а жил в лучшей городской гостинице на главной улице, и адрес его всюду пропечатан; а недруг ходил вокруг и

возле, случилось, спал под одной крышей и никого не видел, как околдованный: однажды в Каменке становой целую ночь проспал в одном доме с Жегулевым, только на разных половинах; и Жегулев, смеясь, смотрел на него в окно, но ничего, на свое счастье, не разглядел в стекле: быть бы ему убиту и блюдечка бы не допить.

И уже на другую губернию перекинулось страшное имя Сашки Жегулева, и, точно в самом имени, в одном звуке его заключался огонь, куда ни падало оно, там вспыхивал пожар и лилась кровь. Казалось, жутко трепетал сам воздух, пропитанный едкой гарью, и в синем дымном тумане своем нес над землею и сеял грозное имя, кровью кропил поля, и лес, и одинокие жилища. Целую ночь горели огни в помещичьих усадьбах, и звонко долдонила колотушка, и собаки выли от страха, прячась даже от своих; но еще больше стояло покинутых усадеб, темных, как гробы, и равнодушно коптил своей лампою сторож, равнодушно поджидая мужиков, – и те приходили, даже без Сашки Жегулева, даже днем, и хозяйственно, не торопясь, растаскивали по бревну весь дом. Остатки все же поджигали, и сторож помогал. Некоторые помещики, побогаче и покруче нравом, завели белозубых, черномазых, свирепо перетянутых черкесов, и там днем мужики кланялись, и бабы, как добрые, носили землянику, а ночью все зывали к святому имени Сашки Жегулева и терпеливо ждали огня. И огонь приходил неведомо откуда – вдруг без причины вспыхивала рига! И уезжали восвояси свирепо

перетянутые черкесы, и помещик перебирался в городскую гостиницу, радуясь дорогому покою и хорошему столу.

В эту пору расцвета славы и силы Сашки Жегулева шайка его разрасталась с такой быстротой, что порою терялись всякие границы: кто в шайке, а кто так? Все тот же спокойный, с начисто выбритым подбородком, старательный Андрей Иваныч первое время вел мысленные списки и наблюдал дисциплину, но и он не выдержал, бросил: одних Гнедых набралось столько, что путалось всякое соображение. Жаловался самому Александру Иванычу Жегулеву, и тот, суровый и мрачный, никогда не улыбающийся, порою страшный даже для своих, отвечал спокойно:

– Оставьте их, Андрей Иваныч, они сами себя найдут.

– Никак нет, Александр Иваныч, этого нельзя оставить. Сами посудите: поставил я вчера в пикет Ивана Гнедых и приказал ему глаз не смыкать, и он, подлец, даже побожился. Ну, думаю, я тебя накрою: прихожу, а он и спит, для тепла с головой укрылся и тут себе задувает! Ах ты... толкнул его в зад, а оттуда совсем неизвестное лицо, мальчишка лет шестнадцати. – «Ты кто?» – «Да Гнедых». – «А Иван где?» – «А батьке завтра в волость надо». – «Так что ж ты спишь, такой ты этакий...»

– У нас две деревни, и все Гнедых, – серьезно и пояснительно сказал Еремей.

– А если ты Гнедых, так и спи на карауле? – Андрей Иваныч даже слегка покраснел от волнения.

– Никто тебя за... не укусит, – сердито ответил Еремей, – тут тебе не карапь, чего взъелся?

Колесников несмело забасил:

– А все-таки, Саша, и по-моему не мешало бы...

– Оставь. А вот бродяг, Андрей Иваныч, вы действительно гоните.

Еремей согласился со своей стороны:

– Верно. Теперь им самый ход, сырости он не любит.

– И если увидите, что пошаливает, пристреливайте.

– Слушаю, Александр Иваныч. А Кузьму Жучка можно оставить? Он просится.

– Жучка оставьте.

Еще то сбивало, что одни и те же мужики то приходили и некоторое время работали с шайкой, то так же внезапно и неслышно уходили, и никогда нельзя было знать, постоянный он или гостяющий. Какими-то своими соображениями руководились они, приходя и уходя, и нельзя было добиться толку вопросами, да под конец и спрашивать перестали – махнули рукой, как и на дисциплину.

И странно было то, что среди всей этой сумятицы, от которой кругом шла голова, крови и огня, спокойно шла обычная жизнь, брались недоимки, торговал лавочник, и мужики, вчера только гревшиеся у лесного костра, сегодня ехали в город на базар и привозили домой бублики. Вообще, сам собой создавался какой-то особый порядок, и, только следуя и подчиняясь ему, Жегулев чувствовал себя сильным; вся-

кая же попытка повернуть на свое русло вызывала незримый отпор и создавала чувство мучительной и странной пустоты. На самой вершине своей славы и могущества Жегулев не раз ощущал в себе эту страшную пустоту, но, еще не догадываясь об истинных причинах, объяснял чувство усталостью и личным. Настоящих причин он никогда, впрочем, и не узнал.

Захаживали в шайку и гощевали беглые солдаты, находившие в Андрее Иваныче покровителя, но оставались недолго; один, красноносый пьяница, чуть ли не добрый десяток лет бегающий от своего года солдатчины, который тянулся за ним, как тягчайший, неискупимый грех, дня три покомандовал хрипло над Гнедыми, был одним из Гнедых жестоко побит и обиженно побежал дальше – жить и бегать оставалось долго. Другой солдат, тоже не молодой, бывший на японской войне, Косарев, остался в шайке и всем полюбился за кротость, но в одной из первых же стычек был убит шальной пулей.

Раз приткнулись к становищу два беглых арестанта, уголовных, но немедленно были прогнаны Еремеем, – а наутро один из них был найден в лесу зарезанным. Арестантики были голодны; и эта ненужная и дикая жестокость, виновник которой так и не обнаружился, смутила даже спокойного, чистого и молчаливого Андрея Ивановича: как раз он наткнулся в лесу на мертвое тело. Целый день он косился на коричневое, из дуба резанное лицо Еремея и все поглядывал

на голенище, где тот прятал нож – ножик, как он сам называл. Но Еремей был непроницаем, еще более спокоен и молчалив, чем сам Андрей Иванович, и только вскользь бросил:

– Кому ж зарезать? На такое добро не всякий польстится. Товарищ же и зарезал, больше некому.

И странно было то, что этот скверный, как думалось, случай вдруг еще выше поднял значение Сашки Жегулева и был поставлен ему в какую-то особую заслугу. Сам Жегулев, недоумевая, поводил плечами, а матросик вдруг запечалился и сказал следующее:

– Скажите мне, Василь Василич, как это так происходит: в каком бы глухом месте, в лесу или в овраге, ни лежало мертвое тело, а уж непременно обнаружится, дотлеть не успеет. Если мне не верите, любого мужика спросите, то же вам скажет.

– А черт его знает! – угрюмо ответил Колесников. – Почему знаю, как пададь находят.

Погодин же взгляделся в начисто выбритый подбородок Андрея Иваныча, в его задумчивые, спокойно-скрытные глаза – и весь передернулся от какого-то мучительного и страшного то ли представления, то ли предчувствия. И долго еще, день или два, с таким же чувством темного ожидания смотрел на матросиково лицо, пока не вытеснили его другие боли, переживания и заботы.

Беспокойл, между прочим, и Васька Соловьев, щеголь. Через него в шайку вошли четверо: два односелка, молодых

и поначалу безобразно пивших парня, бывший монах Поликарп, толстейший восьмипудовый человек, молчаливо страдавший чревоугодием (все грехи, по монастырскому навыку, он делил на семь смертных; и промежуточных, а равно и смешения грехов, не понимал); Поликарп хорошо стрелял из маузера. Четвертым был темный человек Митрофан Петрович, что-то городское, многоречивое и непонятное; лицо у него и бороду словно мыши изгрызли, и туго, как мешок с картошкой, был набит он по самое горло жалобами, обидой и несносной гордыней; и всякому, кто поговорит с ним пять минут, хотелось и от себя потрепать его за бороду и дать коленом в зад. Но был у него и свой талант: от злости ли, либо от несносной гордыни своей не признавал он опасности и страха и действительно с полной готовностью полез бы к самому черту в пекло. Из города он принес и городское, несколько странное прозвище свое: Митрофан-Не пори горячку.

И в первые же дни вся эта компания, с большой неохотой допущенная Жегулевым, обособилась вокруг Васьки Соловьева; и хотя сам Васька был неизменно почтителен, ни на шаг не выходил из послушания, а порою даже приятно волновал своей красивой щеголеватостью, но не было в глазах его ясности и дна: то выпрет душа чуть не к самому носу, и кажется он тогда простым, добрым и наивно-печальным, то уйдет душа в потемки, и на месте ее в черных глазах бездонный и жуткий провал. Но разве не такие же глаза и у всех

людей? – думалось порою, и не темнее других казался тогда Васька Соловьев, щеголь.

Даже неприятности начались было, и первым заявил себя Митрофан-Не пори горячку: еще не принявшись, как следует, пошел к атаману своей вихляющейся, прирожденно пьяной походкой и заявил, что тут самое подходящее место для литья фальшивых двугривенных. Правда, над ним только посмеялись, да и сам он своего проекта не отстаивал и сразу же горячо понес какую-то другую чепуху, но было неприятно, и Еремей презрительно окрестил его чучелой. Другой случай был похуже: один из Васькиных парней, где-то напившись, начал похабничать и говорить свинство, а когда Жегулев прикрикнул, полез на него с ругательствами и кулаками.

Побледневший Саша молча вынул из кобуры револьвер, но не успел поднять его, как пьяный повергся наземь от тяжелого удара Еремеева кулака; и тут в первый раз увидели, каков Еремей в гневе.

– Не погань рук, Александр Иваныч! – промолвил он совсем как бы спокойно, и только лицо почернело, как чугуна. – Мы его и так... сделай-ка петельку, Федот, а то не ушел бы, гляди, колышется.

Пожалуй, и повесили бы пьяного, не вступись Жегулев; но не успокоились мужики, пока собственноручно не выдрали парня, наломав тут же свежих березовых веток, – а потом миром пришли к Жегулеву просить прощения и стояли

без шапок, хотя обычно шапок не ломали, и парень кланялся вместе с ними.

– Миром тебя просим, Александр Иваныч, прости нашу темноту. Ты что ж, Евстигнейка, не кланяешься? Кланяйся, сукин сын, и благодари за науку.

И уж совсем дурачки парень благодарил:

– Благодарю, Александр Иваныч, за науку.

Колесников мрачно смотрел на эту церемонию, ухмыляясь не то злобно, не то иронически, и, когда мужики ушли, скосил глаз на задумавшегося Сашу и тихо сказал Андрею Иванычу:

– Вот оно, того-этого, что значит генеральский сын: никак без порки любви своей ему не выразишь. Вы думаете, для себя они пороли? Нет, а думают, что он иначе не поймет и не оценит.

– Темнота, Василь Василич.

– А вы, Андрей Иваныч, интеллигент!

Матрос тихо улыбнулся:

– А вы знаете, как они об Александре Иваныче выражаются, – от вас, конечно, они скрывают, а при мне не стесняются. Трудно без слез слушать: он, говорят, как ангел чистый, он нам Богом за нашу худобу послан, за ним ходи чисто... Барашек он беленький...

– Барашек? – поднял брови Колесников.

– Мы, говорят, что? Мы мужики, и задница у нас не купленная, а он генеральский сын – это действительно говорят,

но без всякого умысла, Василь Василич, а от души. Помните арестанта зарезанного? Как вам сказать – и не знаю, а ведь они его для Александра Иваныча зарезали.

Колесников ужаснулся:

– Кто зарезал?

– Кто, не знаю, не говорят, но рассуждение у них было такое: показалось им, будто Александр Иваныч разгневался на арестанта и сам хочет его казнить, так вот, чтоб от греха его избавить, они и забежали... нам, говорят, все едино, всех грехов не учесть, а его душеньке будет обидно.

Что-то совсем страшное, далеко уходящее за пределы обычного, встало перед Колесниковым, и даже его мистически-темная душа содрогнулась; и чем-то от древних веков, от каменного идола повеяло на него от неподвижной фигуры Саши, склонившего голову на руки и так смотревшего в лесную глубину, будто весь его, все его темные силы звал он на послугу. Зашептал Андрей Иваныч, и не был прост и спокоен его обычный ровный голос:

– Вот что еще доложу, Василь Василич, надо бы Александру Иванычу смотреть осторожнее, а то ведь они и этого, Митрофана-то, чуть на тот свет не отправили, ей-Богу, уж совет держали, да я отговорил.

– Совет, того-этого, – и когда они совещаются?

– Кто их знает, говорят, совет. Конечно, так, болтают.

Всмотрелся Колесников в тихие глаза матроса и сердито качнул лохматой головой:

– Эй, Андрей Иваныч, интеллигент, а вы ведь знаете, кто арестанта зарезал... Еремей, ну?

Андрей Иваныч вильнул глазами и вытянулся:

– Никак нет, Василь Василич, не знаю.

Но с этого случая недоразумения с Васькой Соловьевым и его присными прекратились, парни были трезвы, а если напивались, то подальше от глаз, и сам Щеголь двигался покорно, неслышно и ловко; и уже несколько раз, будучи расторопен, самостоятельно по поручению Жегулева выполнял некоторые дела и назывался в этих случаях также Сашкой Жегулевым.

И не совсем понятный, но твердый царил порядок.

6. Жегулев

В новой лесной жизни с каждым днем менялся Саша Погодин, и на вид имел уже не девятнадцать лет, а двадцать три-четыре – не меньше; странно ускорился процесс развития и роста. Быстро отрастали волосы на голове, и, хотя усов по-прежнему не было, по щекам и подбородку запушилась смолянисто-черная рамочка, траурная кайма для бледного лица; вместе с новым выражением глаз это делало его до боли красивым – не было жизни в этой красоте, ушла она с первой кровью. Исхудал Саша до крайности: почти не спал, ел мало; но в плечах раздался, и поднялась грудь – в прежней груди не уместилось бы новое сердце. Окаменел, – не улыбается, молчит и решительно противится всякому разговору и близости с Колесниковым. Не любит.

– Я тебе не помешаю, Саша? – подходит Колесников, большой, от смущения нескладный и басистый.

– Нет, не мешаешь. Ты что-нибудь хочешь сказать?

– Да ничего особенного. Так, того-этого, поболтать.

«Глупое слово: „поболтать!“ – с отвращением думает Колесников и присаживается, крякнув:

– Так-то, Саша, и вообще, того-этого... Ты доволен, Саша?

– Доволен.

Тяжелое и глупое молчание. Лицо Саши неподвижно, чер-

ты резки и как-то слишком пластичны; не мягкою была рука того неведомого творца, что из белого камня по ночам высекал это мертвое лицо.

– Тебе тяжело, Саша?

Саша поворачивает голову и улыбается, как старый на вопрос ребенка.

– Да. Мучусь. Но ведь так, кажется, и надо?

Колесников не знает, куда деваться от этой улыбки, и мается в бессильном молчании. Жалеет его Саша и, чтобы нарушить молчание, говорит:

– Папиросы на исходе, не забыть бы взять. А, в общем, я все-таки меньше стал курить, от воздуха, что ли?

– Отчего ты со мной, мальчик, и поговорить не хочешь? – морщится и гудит Колесников. – Подхожу сейчас и думаю, того-этого: каменный ты стал какой-то. Я, Саша, не люблю фальшивых положений, и если ты что-нибудь имеешь против меня, так и говори, брат, прямо. Бей наотмашь, как ведьм, того-этого, в Киеве быют. Ну?

– Я ничего против тебя не имею... Зачем ты, Василий, думаешь пустяки!

– Честное слово?

Саша снова улыбается, но уже по-настоящему смешливо и ласково, тихонько похлопывает двумя пальцами Колесникова по жесткому колену и незаметно вздыхает. Колесникову тоже хотелось бы улыбнуться, но вместо того он хмурится еще больше и говорит с упреком:

– Бесчувственный ты человек, Саша! Или у тебя анестезия?

– А ты требовательный человек, Василий: то много мучусь, то мало! Теперь, как врач, ты хочешь сказать, что жертвы под хлороформом не принимаются, – так я тебя понял?

– Какой я врач: лошадиный доктор! Смеешься, Саша?

– Нет. И не смеюсь, и не плачу. Но ты напрасно беспокоишься: мне не так плохо, как ты думаешь, или не так хорошо, не знаю, чего тебе больше надо. Все идет, как следует, будь спокоен. И, пожалуйста, прошу тебя, к случаю: не заставляй Андрея Иваныча торчать около меня и загоразивать, да и сам тоже. Боишься, что убьют? Пустяки, Василий, я проживу долго, тебя, брат, переживу. Не бойся!

Колесников встал и многозначительно протянул руку:

– Руку!

Саша ответил пожатием – и рука была твердая, сухая и холодная: лучше бы не касался ее Колесников!

Но и с друзьями-мужиками Жегулев разговаривал неохотно и скупое, больше сидел в одиночку. И это нравилось: придавало ему вид суровой значительности и выделяло из круга, как одинокое дерево на лесной прогалине – и вместе, и одно. Выпадали для лесных братьев свободные и все еще веселые вечера, даже более шумные, так как прибавилось народу; тогда, не стесняясь жарким временем, разводили костер на почерневшем, выгоревшем и притоптанном месте, пели песни, ровным однозвучием многих балалаек навевали тихую думу

и кроткую печаль. Завелась и гармоника, и музыкальных дел мастер, Андрей Иванович, играл вальс «На сопках Маньчжурии», подпевая слова. Мужики растроганно сопели и слезливо шмурыгали носами, и даже шутник Иван Гнедых чувствительно высказывался:

– Вот бы наших баб сюда, ах ты, батюшки мои!
И особенно трогали слова:

Кости солдат давно уж в земле поистлели,
А мы же могилы не видели их
И вечную память не пели...

– Хорошие слова, книжные, – говорил Еремей внушительно и окончательно и ободряюще похлопывал Андрея Ивановича по спине, – не робей, матрос, тут тебе не карапь!

Попробовал ту же песню спеть Петруша звонкоголосый, и хотя у него вышло лучше и одобрил сам Василий Васильевич, но мужикам не понравилось: много ты понимаешь, Петрушка, брось, дай матросу. Даже обиделся Петруша и несколько дней совсем отказывался петь, – был он ребячлив, как все истинные таланты, и непрестанно нуждался в сочувствии. И если находила добрая полоса, то пел без усталости, не для людей, а для себя, – звучала в нем песня прирожденно, как в певчей птице. Любили его за это и за кротость души: в горячий мятеж мыслей бессонных и тяжело-кровавых дум вносил он успокоение и тихую ласку.

Случалось, долго не может заснуть Жегулев, ищет безна-

дежно, на чем бы успокоиться мыслью, вызывает о забвении – и все напрасно; и только одна милая картина, вызываясь из памяти настойчиво, давала под конец облегчение и легкий сон. Идут они будто бы перелесочком; среди широких кустов березняка и дуба заворачивает дорога, и Саша отстал, не торопится. А впереди, виднеясь одними спинами, идут какие-то люди, они же и разбойники, они же и друзья, они же и вольная воля; идут и потренькивают балалайками, задумчиво и стройно, и в ровном гуле струн будят певчую душу самой дороги. Идут люди и играют, идет дорога и поет грустно и длительно, кротко нисходит в овражек. Одни уж головы да звуки над тихой зеленью невинно и одиноко возрастающих кустов. Идут. Уходят.

От шума гармоник, порою нескладного пения и отчаянного пляса, в котором по-прежнему отличался Васька Щеголь, прирожденный плясун, Саша обычно уходил. Зажигал в шалашике огарок и читал ставшую невыносимой книгу «Крошка Доррит», которую взял за толщину и неизвестно за что: горькой нелепостью казались все эти мистеры и мистрис. А чаще уходил он в лес, в глухое и мертвое одиночество. В десятке саженей от стана, над глубоким лесным обрывом, торчал из земли, на самом крутогоре, старый, позеленевший пень: тут и находил Саша свое одиночество; и еще долго спустя это место было известно ближайшим деревням под именем «Сашкиного крутогора». За ним редко кто следовал, и постепенно установился такой порядок, чтобы и не

лезть к атаману, раз он удалился на свое место. И про эти часы Сашиного одинокого сидения Еремей выражался так:

– Мозгует Александр Иванович, мозгами ворочает.

Но одну песню Саша слушал постоянно: это милую свою зеленую рябинушку, – отходило сердце в тихой жалости к своей горькой и мучительной доле. А иногда и мучила песня. Как-то случилось, что особенно хорошо пели Колесников и Петруша, – и многим до слез взгрустнулось, когда в последний раз смертельно ахнул высокий и чистый голос:

Ах, да поздней осенью, ах, да под морозами!..

Было молчанье. И в молчанье осторожно, чтобы не шуметь, поднялся Жегулев и тихонько побрел на свое гордо-одинокое атаманское место. А через полчаса к тому же заповедному месту подобрался Еремей, шел тихо и как будто невнимательно, покачиваясь и пробуя на зуб травинку. Присел возле Саши и, вытянув шею, поверх куста заглянул для какой-то надобности в глухой овраг, где уже густились вечерние тени, потом кивнул Саше головой и сказал просто и мягко:

– Об мамаше думаешь, Александр Иваныч?

И, хотя Саша в эту минуту думал как раз о другом, вопрос мужика точно раскрыл истинную сущность мыслей, и, помедлив, Саша взглянул открыто и ответил:

– Да, о матери.

– Так... Подумай, подумай, Александр Иванович, мы против этого не говорим. Думаешь, так думай, ничего, брат, на то ты человек, а не зверь. Верно?.. Я и говорю, что верно. А достатки-то есть у мамыши?

– Да, она получает пенсию за отца, отец у меня давно умер.

– Вишь, как хорошо, и достаток есть! Я и говорю, что хорошо; и братья, поди, учатся?

– Братьев у меня нет, а сестра учится.

– Вишь, как хорошо, душа радуется, ей-Богу! Прости, Александр Иванович, если в чем помешал, дай, думаю, пойти покалякать, сидит человек один. Подумай, подумай, это ничего, паренек ты душевный. Сидит человек один, дай, думаю...

Поизвинялся еще, осторожно, как стеклянного, похлопал Сашу по спине и вразвалку, будто гуляет, вернулся к костру. И показалось Погодину, что люди эти, безнадежно глухие к словам, тяжелые и косные при разговоре, как заики, – в глубину сокровенных снов его проникают, как провидцы, имеют волю над тем, над чем он сам ни воли, ни власти не имеет.

И вдруг на мгновение почувствовал себя тем маленьким Сашей, который в ночную пору слушает мощный гул дерев, – вздохнулось легко и печально.

7. Огонь

Плохо обернулось дело: еще человека убил своей рукой Сашка Жегулев; и второе – погиб в перестрелке, умер страшной смертью кроткий Петруша. Произошло это следующим образом.

Довольно рано, часов в десять, только что затемнело по-настоящему, нагрянули мужики с телегами и лесные братья на экономию Уваровых. Много народу пришло, и шли с уверенностью, издали слышно было их шествие. Успели попрягаться; сами Уваровы с детьми уехали, опустошив конюшню, но, видимо, совсем недавно: на кухне кипел большой барский, никелированный, с рубчатыми боками самовар, и длинный стол в столовой покрыт был скатертью, стояли приборы.

– Вот-то чудесно! Чайку попьем, давно, того-этого, за столом не сиживал! – засмеялся Колесников, бывший с утра в хорошем и веселом настроении. – Маша!

– Кого зовешь? – спросил Жегулев.

– Горничную. Маша!

За окнами грабили хозяйственно и тихо, еще не о чем было кричать, разве только под топором затрещит дверь в амбар и около ледника чему-то хохочут; плавают по двору запасенные фонарики. В главном доме было светло и так же тихо, не шумнее, чем при обыкновенных гостях, и в одно

из раскрытых, темных окон сильно пахло жасмином, только что расцветшим, сиренью и табаком. Митрофан-Не пори горячку с Васькой Щеголем безнадежно царапался в спальне около несгораемой кассы, пытаясь открыть и горделиво ругаясь, и над ними подсмеивались; восьмипудовый, сонный Поликарп с тоской вынюхивал еду. Явилась откуда-то успешная до красноты заплакаться горничная Глаша в фартучке и, признав в Саше барина, стала к нему под покровительство; и уже через пять минут привычно забегала возле стола, привычно кокетничая.

Тронуло Глашу, что ведут себя так хорошо, и, уж не зная, кто она, горничная или хозяйка, нерешительно угощала, — но вдруг расплакалась, глядя на мужиков, и стала их закармливать:

— Ешьте, голубчики, ешьте! Голубчики вы мои, да разве у нас не хватит? Не все пожрали господа, сейчас и еще принесу.

И Еремей за всех благодарил:

— Много вами благодарны.

Наскоро и голодно куснув, что было под рукою, разбрелись из любопытства и по делу: кто ушел на двор, где громили службы, кто искал поживы по дому. Для старших оставались пустые и свободные часы, час или два, пока не разберутся в добре и не нагрузятся по телегам; по богатству экономии следовало бы остаться дольше, но, по слухам, недалеко бродили стражники и рота солдат, приходилось торопиться.

– Ты что же не идешь, Еремей? – удивленно спросил Колесников. – Сделал бы запасец, того-этого.

– Не. Не хочу, нехай им будет пусто, – ответил матерно Еремей и равнодушно покосился в окно.

Странный был человек: прилип к шайке и деятельно помогал, но сам ничем не пользовался, а дома голодали, был самый несчастный мужик на всех Гнедых.

Колесников мягко упрекнул:

– Не для себя, чудак. Хороший ты мужик, а детей, того-этого, голодом моришь.

Еремей нехотя повернул свое темное лицо, и странно – что-то вроде великолепного, барского пренебрежения и к самому Колесникову и к его словам мелькнуло на этом мужицком лице; и равнодушно сказал:

– Чего хлопочешь? Не сдохнут щенки.

– У него, Василь Василич, жена с телегой приехала, – пояснил матрос, – она уж его бранила. Шел бы ты и вправду, Еремей, не гордился бы.

Уже с презрением посмотрел мужик на Андрея Иваныча, ничего не сказал и, переваливаясь, вышел. А Колесников подумал: «Как странно бывает сходство: Елена Петровна – гречанка и генеральша, а этот – мужик, а как похожи!.. Словно брат с сестрой. Слава Богу, сегодня все идет хорошо и приятно, и пьяных мало».

– Плескните-ка еще стаканчик, Андрей Иваныч. Пей, Петруша, что не пьешь?

– Не хочется мне пить, Василь Василич, все будто душа не спокойна: не нагрянули бы!

– Далеко, успеем уйти. Пей!

Саша, не оставляя маузера, пошел осматривать комнаты: интересно было чужое жилище в его не успевшей остынуть жизни. Видно было по всему, что жили люди богатые, культурные, ценившие чистоту и порядок; и что-то в красоте убранства напоминало Елену Петровну. А наверху одна комната совсем смутила Сашу: была и по размеру, и по белизне похожа на его городскую, и постель с наискось отвернутым для ночи одеялом была его, только не хватало обрзка. И на несколько минут поколебался каменный облик, и с ним отошло все настоящее; Саша бесшумно и крепко притворил дверь и, не желая входить дальше, остановился у порога. Пахло чем-то прежним, кажется, чистым бельем или даже духами. И в темноте – он погасил свечу – его сердце, покинутое ужасом, затеплилось такой радостью, такой любовью и нежной грустью, словно вышел он на свидание к любви своей. Не думалось об утрате, и невозможность раскрыла двери: вышел он на свидание к любви своей, дал ей первый поцелуй, сказал слова нежности, встречи и прощания, всю уместил ее в сердце, широко, теплом и любовном, как июньская ночь, когда только что распустился жасмин. Совсем забывшись, Саша шагнул к окну и крепким ударом ладони в середину рамы распахнул ее: стояла ночь в саду, и только слева, из-за угла, мерцал сквозь ограду неяркий свет и слы-

шалось ровное, точно пчелиное гудение, движение многих живых, народу и лошадей. Но не понял их значения Саша и, легши на подоконник руками и грудью, прикрыл веками глаза и капля за каплей стал пить пьяный и свежий воздух.

Обеспокоился на минуту, услышав в коридорчике крепкие шаги и ищущий голос Колесникова:

– Эй, дядя, не видал Александра Иваныча?

– Туды прошел, – ответил кто-то, и снова стало тихо.

И снова ушел в свою мечту Саша. Было с ним то странное и похожее на чудо, что как дар милостивый, посылается судьбою самым несчастным для облегчения: полное забвение мыслей, поступков и слов и радостное ощущение настоящей, скрытой словами и мыслями, вечной бестелесной жизни. Остановилось и время.

Но досадно захотелось курить; а когда закуривал и зажег спичку, то вспомнил маузер, и – исчезла тишина. Пытался Саша, повторив позу, вызвать ушедшее, но ничего не вышло, противно заскакали мысли, и потянуло на народ.

– Куда ты запропал, Саша? Нигде тебя не найдешь! – обрадовался Колесников. – На дворе был?

– Да. Налей-ка чаю, Вася, – сказал Жегулев, быстро и весело садясь. – Как у вас тут светло!

– Много пьяных?

– Не видал.

– Здорово! Тебе покрепче, Саша?.. – взглянул Колесников, как из-за очков, поднял удивленно голову и уставился

прямо. – Да ты, Саша... чему ты рад, Сашка? Что пьяных мало?.. Ну и чудак же ты, Сашук!

Оба улыбались друга на друга, пока не закричал и не заплясал Колесников, обжегшись кипятком. Подвернулась Глаша в фартучке:

– Позвольте, я налью. А если не крепко, то можно еще подварить, у нас чаю много.

Рояль был раскрыт, и на пюпитре стояли ноты – чуждая грамота для Саши! Нерешительно, разинув от волнения рот, постукивал по клавишам Петруша и, словно боясь перепутать пальцы, по одному держал крепко и прямо, остальные ногтями вжимал в ладонь; и то раскрывался в радости, когда получалось созвучие, то кисло морщился и еще торопливее бил не те. Солидно улыбался Андрей Иванович и вкривь и вкось советовал:

– А ну-ка сразу по этим!

И тайно конфузился, когда выходило еще хуже, поправляя:

– Да не те, эх, Петруша!

– Александр Иванович, Василь Василич! – пел Петруша, страдая. – Какая вещь драгоценная, да, ключ-то потерявши, и подступиться не дает.

Саша засмеялся и, подойдя быстро и перегнувшись через Петрушу, заиграл «собачий вальс».

– Это что же такое?

– Собаки танцуют. Слушай!

Попрыгали собачки и сразу на одной ножке сели: не кончив, бросил Саша, – не стоит вспоминать! – и вернулся к столу.

Пришел Еремей, что-то пряча в руке, и за ним хмельной, недовольный и огорченно ругающийся Иван Гнедых:

– Ну и сторонка! Живут люди богато, а взять нечего. И тут наставили, и тут нагородили, и тут без ума намудрили, а взять ни синь пороха не возьмешь, как пригвожденное. Ну и хитрый народ! Михей, вот-то дурак! Зонтик взял, а теперь мается, в дверь пролезть не может, застрял, как в верше. Смехота!

За окнами стало шумнее и набегала тревога: кричали во многие голоса, стукались ободьями и колесами, ругали лошадей. Еремей сурово глянул в сторону окна и сказал:

– Ну и жадный у нас народ, не может порядку установить. Запалить бы, не мигаючи, чего тут!

Но, не договорив, расплылся в широчайшей улыбке и как сиянием окружил себя бородой; и протянул к Колесникову крепко зажатый кулак:

– Глянь-кась, Василь, и что это за штука?

– Да кулак-то раскрой, вцепился. Ну? Печатка, свою фамилию печатать.

С хрустальной, кругло-граненой ручкой и серебряным штампиком печатка – нечто бесценное, загадочное и блестящее, что могло бы понравиться и вороне, очаровательное тем, что мало, блестит и непонятно.

– А мою фамилию она может? – спросил Еремей, принимая обратно.

– Нет. Брось лучше. Попадешься, худо будет, того-этого.

– Ладно, Василь, брошу, – кротко успокоил Еремей и, улупив минуту, быстро сунул в карман штучку да еще сверху прижал ладонью; поправил бороду и насупился.

Беспокойнее шумел двор – вдруг почувствовалось, что дом чужой, и потянуло ближе к шуму; колеблясь, толкались по комнате, сразу принявшей вид беспорядка и угрюмости. Встревоженная Глаша сперва жалась к столу, где сидели Колесников и Саша, потом исчезла куда-то. Гоготали около найденного граммофона и, смешливо морщась и покачиваясь на нетвердых ногах, божился Иван:

– Эта самая, провалиться на месте, эта самая! Куда пришла, а? Принесла ее летось учительша, повертела маломало за хвост, да и пусти!.. Аж дрогнул народ! Тут тебе гнусит, как дьячок, тут тебе кандычит, тут тебе слезьми заливается – смехота!

Смеялись уже не от рассказа, а на него глядя.

– А тут урядник с старостой – шась: слова, что ли, не те, кто ее разберет, да и в холодную, только и пожила. Несут ее, матушку, мужики жалеют, да мне и самому жалко, я и говорю: не бойсь, машинка! теперь не секут. Ей-Богу, правда, на этом месте провалиться!

К удивлению и пущему смеху смотревших, Иван прослезился, а потом с матерным ругательством хотел ногой уда-

ритель граммофон, но не осилил тяжести ноги и чуть не завалился. Запахло в комнате спиртом – видно, не один Иван успел где-то зарядиться, чаще матюкались и точно невзначай пытались что-нибудь разбить или повалить, усиленно харкали и плевались: нарастало жуткое и безобразное. Подтянувшийся Андрей Иванович внимательно посматривал по сторонам, прислушивался к гудевшему окну и несколько раз, соображая, поглядел на свои серебряные, наградные за стрельбу часы. Свирепо косил глазами и хмурился Колесников: пропало хорошее настроение, и вновь начала томить глухая тоска, под тяжестью которой в последние недели медленно и страшно мертвела его душа...

Жегулев отошел к книжному шкапу и, зажав под мышкой маузер, торопливо перелистывал Байрона, искал страницу и, найдя, остановился глазами:

... Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшись по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес —
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез —
Они растают и прольются

Заглянул через плечо Колесников и усмехнулся угрюмо и злобно:

– Байрон! Вот, Саша, того-этого, и тут читали Байрона. Жегулев холодно взглянул на него, неторопливо закрыл толстую в переплете книгу и бросил в угол. И вместе с звуком от падения книги, непонятно смешавшись с ним, пронесся далекий женский вопль. Еще крик – теперь ясный зов на помощь, неудержимый женский визг, противно сверлящий уши, злой и жалкий. Короткий перерыв, точно закрыли ладонью рот – и опять с той же высокой и хриплой ноты. Затопал ногами; кто-то, свалившись, загрохотал по лестнице – и комната пропала из глаз. Толкнув кого-то и еще кого-то, на долгое мгновение запутавшись в незнакомых переходах, Саша вылетел к запертой двери, за которой словно дохрипывал голос. Потряс: заперто.

– Отвори!

Сзади поддержали, дышит много народу, кричат. Заревел Колесников, но за дверью тихо и ответа никакого, и, напрягшись, высадил Саша дверь. Навстречу ему из полумрака, освещенный только дверью, смутно двинулся толстый, разъяренный Поликарп, а позади него на постели снова противно завизжала Глаша. Что-то крикнул Поликарп, но Саша не слышал: с яростью, мутившей рассудок, и невыносимым отвращением он раз за разом выпустил десять зарядов маузера, вертя стволом, как жалом, последние пули кидая вниз, в мертвую уже, залитую кровью, разметавшуюся тушу. Пороховую вонюю наполнилась комната, как от взрыва. Щелкнув по-пустому, Жегулев обернулся, оскалил зубы на Колесни-

кова и, после короткой борьбы, выхватил у него оружие, повернулся – и тут только понял, что больше не надо.

Заверещала притихшая под выстрелами Глаша и, придерживая выскочившую грудь, выбросилась наружу и бестолково заметалась в толпе мужчин, плакала и кричала, уже никого не боясь:

– Разбойники! Насильники! Га-а-ды! На бабу польстились! Разбойники, Сашки Жегулевы! Га-а-ды!

С отвращением аскета, увидевшего мерзость, с ненавистью любящего, увидевшего в грязи любовь, Саша дернул маузером и дико закричал:

– Молчать, дрянь! У-бью!

Чей-то узловатый кулак ударил Глашу по уху, она упала в дверь и, уже молча, на четвереньках поползла; и дверь захлопнулась. Саша сузил глаза, отчего казалось, что он улыбается, оглядел всех и спросил:

– Ну?

Молчали и, как стена, не имели глаз. Вдруг, все так же пряча взор, шагнул блестящими сапогами Васька Соловей и по первому звуку покорно спросил:

– Не очень ли уж круто, Александр Иваныч?

– Ну? – как масленичная маска, улыбалось лицо Жегулева.

– Не очень ли уж круто, Александр Иваныч? Если за всякую бабу...

К счастью для себя, поднял воровские глаза Соловьев – и

не увидел Жегулева, но увидел мужиков: точно на аршинных шеях тянулись к нему головы и, не мигая, ждали... Гробовую тесноту почувствовал Щеголь, до краев налился смертью и залился, топчась на месте, даже не смея отступить:

– Так точно, Александр Иванович, ваша воля...

Жегулев крикнул:

– Собрать своих, Андрей Иванович! Выгнать из кухни баб. Запаливай, Еремей!

Из сада смотрели, как занимался дом. Еще темнота была, и широкий двор смутно двигался, гудел ровно и сильно – еще понаехали с телегами деревни; засветлело, но не в доме, куда смотрели, а со стороны служб: там для света подожгли сарайчик, и слышно было, как мечутся разбуженные куры и поет сбившийся с часов петух. Но не яснее стали тени во дворе, и только прибавилось шуму: ломали для проезда ограду.

– Александр Иванович, Василь Василич, гляньте-ка, окошечко покраснелось, – повернул головой Петруша.

Во многих окнах стоял желтый свет, но одно во втором этаже вдруг покраснело и замутилось, замигало, как глаз спросонья, и вдруг широко по-праздничному засветилось. Забелели крашенные в белую краску стволы яблонь и побежали в глубину сада; на клумбах нерешительно глянули белые цветы, другие ждали еще очереди в строгом порядке огня. Но помаячило окно с крестовым четким переплетом и – сгасло.

Кто-то из глядящих огорченно выругался и вздохнул:

– Эх ты! Сгасло, проклятое!

Но не успел кончить – озарилась светом вся ночь, и все яблони в саду наперечет, и все цветы на клумбах, и все мужики, и телеги во дворе, и лошади. Взглянули: с той стороны, за ребром крыши и трубою, дохнулся к почерневшему небу красный клуб дыма, пал на землю, колыхнулся выше – уже искорки побежали.

Торопливо затолковали голоса:

– С той стороны зажгли! С той стороны!

И тихо взвился к небу, как красный стяг, багровый, дымный, косматый, угрюмый огонь, медленно свирепея и наливаясь гневом, покрутился над крышей, заглянул, перегнувшись, на эту сторону – и дико зашумел, завыл, затрещал, раздирая балки. И много ли прошло минут, – а уж не стало ночи, и далеко под горою появилась целая деревня, большое село с молчаливою церковью; и красным полотнищем пала дорога с тарахтящими телегами.

И кто с этой стороны, опоздавший и ослепленный пламенем, встречал скачущих мужиков, тот в страхе прыгал в канаву; смоляно-черные телеги и кони в непонятном смешении оглобель, голов, приподнятых рук, чего-то машущего и крутящегося, как с горы валились в грохот и рев.

8. Смерть Петруши

Разбившись на маленькие отряды, как было принято, рассеялись в ночи лесные братья. С Жегулевым остались коренные, Колесников, матрос и Петруша, да еще Кузьма Жучок, тихий и невзрачный по виду, но полезный человечек. Бесконечно долго уходили от зарева, теряя его в лесу и снова находя в поле и на горках: должно быть, загорелись и службы, долго краснелось и бросало вперед тени от идущих. Наконец закрылось зарево холмом, и тут только почувствовали идущие, что они устали и что над землею стоит тихая, летняя, пышная, уже глубокая ночь.

Присели у межи; Петруша потер руку о траву и сказал:
– Росная.

Ржавым криком кричал на луговой низине коростель; поздний опрокинутый месяц тающим серпчком лежал над дальним лесом и заглядывал по ту сторону земли. Жарко было от долгой и быстрой ходьбы, и теплый, неподвижный воздух не давал прохлады – там в окна он казался свежее. Колесников устало промолвил:

– Скоро и рассвет: долго нам еще идти. А все-таки приятно, что дом, того-этого... Петруша, ты рад?

– Рад, Василь Василич.

– Теперь, пожалуй, и наскочили, головешки подбирают, – сказал Андрей Иваныч про стражников и протянул папиросу

Жучку, – возьми, Жучок.

Жегулев прикинул глазами небо и вслух задумался:

– Не знаю, пересекать ли нам большак или уж прямо?..

Прямо-то версты на две дальше. Как вы думаете, Андрей Иванович?

– Пойдем через большак, чего там, – сказал Колесников.

– Рассвет к тому времени, как бы не наткнуться, – нерешительно ответил матрос.

– Сами говорите, наскружили, а теперь боитесь. Вздор! Решил вопрос Кузька Жучок, человек с коротким шагом:

– Ну, а встретятся, в лес стреканем, – эка!

Охая и поругиваясь, тронулись в путь, но скоро размялись и зашагали ходко. С каждой минутой бледнела жаркая смуглота ночи, и в большак уперлись уже при свете, – правда, неясном и обманчивом, но достаточно тревожном. Тридцатисаженной аллеей сбегали по склону дуплистые ракиты и чернел узенький мостик через ручей, а за ним лезла в кручу облысевшая дорога и точно готовила засаду за неясным хребтом своим. За ручьем, в полуверсте налево начинался огромный казенный лес, но, в случае чего, до него пришлось бы бежать по открытому, голому, стоявшему под паром полю.

– Долго будем думать? – сердито сказал Колесников и крупно зашагал по склону, вихляя щиколоткой в многочисленных глубоких, еще не разбитых в пыль колеях и колчах; за ним, не отставая, двигались остальные. И уже у самого

мостика за шумом своих шагов услышали они другой, более широкий и дружный, несшийся из-за предательской кручи. Сразу догадавшийся Жегулев остановил своих и тихо командовал:

– Слушать! Через мост бегом, на подъем, не дойдя до вер-ху, налево до лесу. В случае – залп! Живыми не сдаваться! Двигай!

Сонно и устало подвигались солдаты и стражники – слу-чайный отряд, даже не знавший о разгроме уваровской эконо-мии, – и сразу даже не догадались, в чем дело, когда из-под кручи, почти в упор, их обсеяли пулями и треском. Но несколько человек упало, и лошади у непривычных стражни-ков заметались, производя путаницу и нагоняя страх; и ко-гда огляделись как следует, те неслись по полю и, казалось, уже близки к лесу.

– Гони! – отчаянно крикнул офицер на казачьем седле и выскакал вперед, скача по гладкому пару, как в манеже; за ним нестройной кучей гаркнули стражники – их было немного, человек шесть-семь; и, заметая их след, затрусили солдаты своей, на вид неторопливой, но на деле быстрой по-бежкой.

Лес был в семидесяти шагах.

– Стой! Пли! – крикнул Жегулев.

Через голову убитой лошади рухнул офицер, а стражни-ки закружились на своих конях, словно танцуя, и молодец-ки гикнули в сторону: открыли пачками стрельбу солдаты.

«Умницы! Молодцы, сами догадались!» – восторженно, почти плача, думал офицер, над которым летели пули, и не чувствовал как будто адской боли от сломанной ноги и ключицы, или сама эта боль и была восторгом.

Колесников, бежавший на несколько шагов позади Петруши, увидел и поразился тому, что Петруша вдруг ускорил бег, как птица, и, как птица же, плавно, неслышно и удивительно ловко опустился на землю. В смутной догадке замедлил бег Колесников, пробежал мимо, пропустил мимо себя Жучка, торопливо отхватывавшего короткими ногами, и остановился: в десяти шагах позади лежал Петруша, опершись на локоть, и смотрел на него.

«Жив!» – радостно сообразил Колесников, но сообразил и другое и... С лицом, настолько искаженным, что его трудно было принять за человеческое, не слыша пуль, чувствуя только тяжесть маузера, он убийцею подошел, подкрался, подбежал к Петруше – разве можно это как-нибудь назвать?

Не мигая, молча, словно ничего даже не выражая: ни боли, ни тоски, ни жалобы, – смотрел на него Петруша и ждал. Одни только глаза на бледном лице и ничего, кроме них и маузера, во всем мире. Колесников поводит над землею стволом и крикнул, не то громко подумал:

– Да закрой же глаза, Петруша! Не могу же я так!

Понял ли его Петруша, или от усталости – дрогнули веки и опустились.

Колесников выстрелил.

9. Фома Неверный

...Это было еще до смерти Петруши.

В один из вечеров, когда потренькивала балалайка, перебиваясь говором и смехом, пришел из лесу Фома Неверный. Сперва услышали громкий, нелепый, то ли человеческий голос, то ли собачий отрывистый и осипший лай: гау! гау! гау! гау! – а потом сердитый и испуганный крик Федота:

– Куда лезешь, черт! Напугал, черт косолапый, чтоб тебе ни дна ни покрышки!

И в свете костра, по-медвежьи кося ногами, вступил огромный, старый мужик, без шапки, в одном рваном армяке на голое тело и босой. Развороченной соломой торчали в стороны и волосы на огромной голове, и борода, и все казалось, что там действительно застряла с ночевки солома, – да так оно, кажется, и было. И весь он был взъерошенный, встопыренный, и пальцы торчали врозь, и руки лезли, как сучья, – трудно было представить, как такой человек может лежать плоско на земле и спать. Сумасшедшим показался он с первого взгляда.

– И впрямь черт! – сказал Иван Гнедых и пододвинулся к матросу.

Мужик заговорил, и опять стало похоже на собачье гау! гау! Неясно, как обрубленные, вылетали громкие слова изпод встопыренных усов, и с трудом двигались толстые губы,

дергаясь вкривь и вкось.

– Где атаман? Атаман тау, атамана тау мне надо, Жегулева, Жегулева тау!

Ему показали на Сашу. Всеми ершами своими он повернулся на Сашу и несколько раз фукнул:

– Фу, фу, фу! Ты атаман? Фу – ну, Рассея-матушка, плохи дела твои, коли мальчишек, тау, тау, спосылаешь! Гляди!

И всеми ершами своими повалился на колени и стукнул лбом; быстро встал.

– Чего тебе надо? – спросил Жегулев.

– Я Фома Неверный. Слушай, тау, тау! Бога нет, ...не надо, душа клеточка. Вот тебе мой сказ!

И быстро оглянулся кругом, ища одобрения, и Еремей строго и одобрительно подтвердил:

– Верно, Фома, садись, гость будешь.

Как-то подвернув ноги, Фома быстро сел наземь и неподвижно уставился на Сашу; но как бы ни тихо сидел он, что-то из него беспокойно лезло в стороны, отгоняло близко сидящих-глаза, что ли!

– Так чего же тебе надо, Фома?

– Я барыню зарезал.

– Какую барыню? За что?

– Не знаю, тау, тау!

Мужики закивали головами, некоторые засмеялись; усмехнулся и Фома. Послышались голоса:

– Чудак человек, да за что-нибудь же надо! Курицу, и ту,

а ты барыню.

– Она, эта барыня, что-нибудь тебе сделала? Обидела?

– Не. Какая обида, я ее дотоль и не видал. А так и зарезал, жизнь свою, тау, тау, оправдать хотел. Жизнью, тау, тау, оправдать. С мальчонком.

Замолк нелепо; молчали и все. Словно сам воздух потяжелел и ночь потемнела; нехотя поднялся Петруша и подбросил сучьев в огонь – затрещал сухой хворост, полез в клеточки огонь, и на верхушке сквозной и легкой кучи заболтался дымно-красный, острый язычок. Вдруг вспыхнуло, точно вздрогнуло, и засветился лист на деревьях, и стали лица без морщин и теней, и во всех глазах заблестело широко, как в стекле. Фома гавкнул и сказал:

– Поисть дали бы, братцы. Исть хоцца.

Жарко стало у костра, и Саша полулег в сторонке. Опять затренькала балалайка и поплыл тихий говор и смех. Дали поесть Фоме: с трудом сходясь и подчиняясь надобности, мяли и крошили хлеб в воду узловатые пальцы, и ложка ходила неровно, но лицо стало, как у всех – ест себе человек и слушает разговор. Кто поближе, загляделись на босые и огромные, изрубцованные ступни, и Фома Неверный сказал:

– Много хожу, тау, тау. Намеднись на склянку напоролся.

Евстигней подтвердил:

– Это бывает. Работали мы мальчишкой на стеклянном заводе, так по битому стеклу босой ходил. Как мастеру форма не понравится, так хрясь об пол, а пол чугунный. Сперва

резались, а потом и резаться перестало, крепче твоего сапога.

Петруша затренькал балалайкой, лениво болтая пальцами.

– Спой, Петруша.

– Нет, не хочется мне петь.

– Так сыграй, чего форсишь. А Фома попляшет!

Мужики засмеялись, и сам Фома охотно хмыкнул – словно подавился костью и выкашливает. Иван Гнедых оживился, сморщился смешливо и начал:

– Нет, погоди, что я на базаре-то слышал! Будто раскапывали это кладбище, что под горой, так что ж ты думаешь? – все покойники окарач стоят, на четвереньках, как медведи. И какие барины, так те в мундирах, а какие мужики и мешане, так те совсем голые, в чем мать родила, так голой задницей в небо и уставились. Ей-Богу, правда, провалиться мне на этом месте. Смехота!

Некоторые засмеялись, Еремей сказал:

– Врешь ты! И откуда в городе мужики?

«Интересно бы узнать, что теперь у нас в городе рассказывают?» – подумал тогда Колесников, привычно, вполслуха, ловя отрывки речей. И вдруг, как далекая сказка, фантастический вымысел, представился ему город, фонари, улицы с двумя рядами домов, газета; как странно спать, когда над головою крыша и не слышно ни ветра, ни дождя! И еще страннее и невероятнее, что и он когда-то так же спал. Взглянул

Колесников в ту сторону, где красными черточками и пятнами намечался Погодин, и с тоскою представил себе его: лицо, фигуру, легкую и быструю поступь. Вчера заметил он, что шея у Саши грязная.

«Эх, того-этого!.. – подумал со вздохом Колесников и свирепо скосил глаз на тренькавшего Петрушу. – Еще запоет младенец!» Что-то зашевелилось, и всей своей дикой громадой встопорчился над сидящими Фома Неверный: тоже сокровище!

Шагнул через чьи-то ноги и озирается; как сучья лезут руки, и в волосах стоит солома... или это сами волосы так стоят? Гавкает.

– Да куда ты? – спрашивает кто-то тревожно. – Мамон набил, теперь спать ложись.

– Он постели ищет. Фома, постели ищешь?

– Вся тебе земля постеля, куда прешь? Взвозился, черт немазанный!

– А к атаману, тау, тау! К атаману. К Жегулеву, Александру Иванычу, Жегулеву!

«Завтра же его прогоню, надо Андрею Иванычу сказать», – решил Колесников и видит, что Саша уже встал и Фома закрывает и будто теснит его своей фигурой. Тревожно шагнул ближе Колесников.

– Еще чего? – спрашивает Жегулев. – Спать иди, завтра скажешь.

Фома затурчал:

– Поел я, а за хлеб-соль не благодарю. Ничей он. Слыхал мой сказ?

И оглянулся кругом, ища одобрения, но все молчали. Саша ответил:

– Слыхал.

– А теперь гляди! – С этими словами Фома быстро опустился на колени и стукнул землю лбом. Так же быстро встал и ждет.

– За что ты мне кланяешься, Фома?

Фома ответил:

– Я всем убивцам в землю кланяюсь, тау, тау. Хожу по Рассее и ищу убивца, как увижу, так и поклонюсь. Прими мой поклон и ты, Александр Иванович.

И ушел, как пришел, только его и видели, только его и знали. Дернул ершами, захрустел сучьями в лесу, как медведь, и пропал.

– Экая образина, черт его подери! Какую комедию развел, комедиант, – прогудел Колесников и неправдиво засмеялся. – Сумасшедший, таких на цепь сажать надо.

Но никто не откликнулся на смех и на слова никто не ответил. И что-то фальшивое вдруг пробежало по лицам и скосило глаза: почуял дух предательства Колесников и похолодал от страха и гнева. «Пленил комедиант!» – подумал он и свирепо топнул ногой:

– Ты что молчишь, Еремей: тебе говорю или нет, подлец! Еремей, по-прежнему кося глаза, нехотя отозвался:

– Ну и сумасшедший!.. Чего орешь?

Услужливые голоса подхватили:

– Сумасшедший и есть! На ем и халат-то больничный, ей-Богу!

– Дать бы ему хорошего леща... Тоже, хлебца просит, а благодарить не хочет, хлеб, говорит, ничей.

– Поди-ка, сунься к нему, он тебе такого леща даст! Черт немазанный! И голова же у него, братцы; не голова, а омет. Смехота!

– То-то ты и посмеялся!

Андрей Иваныч крикнул:

– Смирно! Тут вам не кабак.

Примолкли, посмеиваясь и подмигивая Андрею Иванычу: ну-ка еще, матрос, гаркни, гаркни! Но чей-то голос явно отчеканил:

– Какой кабак! Храм запрестольный! Всех разбойников собор!

Неласково засмеялись. И опять забалакала балалайка в ленивых руках Петруши, и зевал Еремей, истово крестя рот. Притаптывали костер, чтобы не наделать во сне пожара, и не торопясь укладывались на покой.

Кто приходил и кто ушел? Кто поклонился земно Сашке Жегулеву? Ушел Фома Неверный, и тишиной лесною уже покрылся его след.

10. Васька плясать хочет

На следующий день после смерти Петруши в становище проснулись поздно, за полдень. Было тихо и уныло, и день выпал такой же: жаркий, даже душный, но облачный и томительно-неподвижный-слепил рассеянный свет, и даже в лесу больно было смотреть на белое, сквозь сучья сплошь светящееся небо.

Благополучно вернувшийся Васька Соловей играл под березой с Митрофаном и Егоркой в три листика. Карты были старые, распухшие, меченые и насквозь известные всем игрокам, – поэтому каждый из игроков накрывал сдачу ладонью, а потом приближал к самому носу и, раздернув немного, по глазку догадывался о значении карты и вдумывался.

– Прошел.

– Двугривенный с нашей.

– С нашей тоже. Не форси!

– Полтинник под тебя; видал?

– А это видал: замирил, да под тебя... двугривенный?

– Ходи!

Колесников, помаявшись час или два и даже посидев возле игроков, подошел к Жегулеву и глухо, вдруг словно опустившимся басом, попросил:

– Можно мне, Саша, уйти с Андреем Иванычем? Нехорошо мне, того-этого, мутит.

– Конечно! Куда хочешь пойти?.. Осторожно только, Василий.

– Да пойду на то место, ну, на наше, – он понизил голос, покосившись на игроков. – Землянку копать будем. Тревожно что-то становится...

– Вчерашнее?

– Не столько оно, сколько, того-этого, вообще недоверие, – он понизил голос, – помнишь этого сумасшедшего, как он поклонился тебе? Пустяки, конечно, но мне Еремей тогда, того-этого, не понравился.

– Пустяки, Василий. Когда вернешься?

– Да завтра к полудню. Будь осторожен, Саша, не доверяй. За красавцем нашим, того-этого, поглядывай. Да... что-то еще хотел тебе сказать, ну да ладно! Помнишь, я леса-то боялся, что ассимилируюсь и прочее? Так у волка-то зубы оказались вставные. Смехота!

Еще в ту пору, когда безуспешно боролись с Гнедыми за дисциплину – матрос и Колесников настояли на том, чтобы в глуши леса, за Желтухинским болотом, соорудить для себя убежище и дорогу к нему скрыть даже от ближайших. Место тогда же было найдено, и о нем говорил теперь Колесников.

Ушли, и стало еще тише. Еремей еще не приходил, Жучок подсел к играющим, и Саша попробовал заснуть. И сразу уснул, едва коснулся подстилки, но уже через полчаса явилось во сне какое-то беспокойство, а за ним и пробуждение, – так и все время было: засыпал сразу как убитый, но ненадол-

го. И, проснувшись теперь и не меняя той позы, в которой спал, Жегулев начал думать о своей жизни.

Уже много раз со вчерашней ночи он вспоминал свое лицо, каким увидел его в помещичьем доме в зеркале: здесь у них не было осколочка, и это оказалось лишением даже для Колесникова, полушутя утверждавшего, что вместе с электричеством он введет в деревне и зеркала «для самоанализа». Зеркало у Уваровых было большое, и сразу увидел себя Саша во весь рост: от высоких сапог, перетянутых под коленным ремнем, до бледного лица и старой гимназической,летней без герба фуражки; и сразу понравилась эта полужнакомая фигура своей мужественностью. Лица он тогда не рассматривал, но твердо до случая запомнил и теперь, вызвав в памяти, внимательно и серьезно оценил каждую черту и свел их к целому – бледность и мука, холодная твердость камня, суровая отрешенность не только от прежнего, но и от самого себя. «Хорошее лицо, такое, как надо», – решил Жегулев и равнодушно перешел к другим образам своей жизни: к Колесникову, убитому Петруше, к матери, к тем, кого сам убил.

Так же холодно и серьезно, как и свое лицо, рассмотрел убитого телеграфистика, вчерашнего Поликарпа, отвратительную, истекающую кровью сальную тушу, и солдата без лица, в которого вчера бил с прицела, желая убить. Солдат свалился, наверное, убитый. Бесстрастно вставали образы, как на экране, и вся теперешняя жизнь прошла вплоть до Петрушиной осиротевшей балалаечки, но странно! – не вы-

зывали они ни боли, ни страдания, ни даже особого, казалось, интереса: плывет и меняется бесшумно, как перед пустой залой, в которой нет ни одного зрителя. Даже мать, о которой он думал долго, соображая, что она делает теперь, даже Женя Эгмонт, даже покойный отец: видится ясно, но не волнует и не открывает своего истинного смысла. А попробует размыслить и доискаться ускользающего смысла, – ничего не выходит: мысли коротки и тупы, ложатся плоско, как нож с вертящимся черенком. И прошлое хоть вспоминается, а будущее темно, неотзывчиво, совсем не мыслится и не гадается – даже не интересуется.

– Окаменел я! – равнодушно заключает Саша и, решив шелохнуться, с удовольствием закуривает папиросу.

И с удовольствием отмечает, что руки у него особенно тверды, не дрожат нимало, и что вкус табачного дыма четок и ясен, и что при каждом движении ощущается тяжелая сила. Тупая и покорная тяжелая сила, при которой словно совсем не нужны мысли. И то, что вчера он ощутил такой свирепый и беспощадный гнев, тоже есть страшная сила, и нужно двигаться с осторожностью: как бы не раздавить кого. Он – Сашка Жегулев.

Уже смеркается без заката – или был короток сумрачный закат и невидимо догорел за лесом. В отверстие двери заглядывает темная голова и осторожно покашливает, по удальской линии картуза – Васька Соловей.

– Что надо, Соловьев? – спросил Саша.

– Не спите, Александр Иванович? Поговорить бы надо, дело есть.

– Погоди, сейчас выйду. Еремей не приходил?

– Нет, да и не придет он нынче. Я тут погожу. Жегулев вышел и, глядя на темнеющее небо, потянулся до хруста в костях. Недалеко куковала кукушка; скоро совсем стемнеет, не видно станет неприятного неба, и наступит прекрасная ночь.

– Пойдем пройтись, Соловьев, дорогой расскажешь.

– Да мне всего два слова, позвольте здесь, – уклонился Соловьев и, показалось, бросил взгляд в ту сторону, где сидели под деревом его двое и маленький Кузька Жучок. Поглядел в ту же сторону и Жегулев и почему-то вспомнил слова Колесникова об осторожности. Не понравился ему и слишком льстивый голос Соловья.

– Говори, – сухо приказал он, спиной прислонившись к дереву и плохо в сумерках различая лицо.

Соловьев раза два перешагнул на месте и, точно выбрав, наконец, ногу, оперся на нее и заложил руку за спину, на сборы поддевки.

– Да я все об том, Александр Иванович, что надо бы вам отчитаться.

Жегулев не понял и удивился:

– Как отчитаться? Первый раз слышу.

– Первый-то оно первый, – сказал Соловей и вдруг усмехнулся оскорбительно и дерзко, – все думали, что сами дога-

даетесь. А нынче, вижу, опять Василь Василич с матросом ушел деньги прятать, неприятно это, шайке обидно.

Жегулев молчал.

– Деньги-то кровные! Конечно, что и говорить, за вами они не пропадут, как в банке, а все-таки пора бы... Кому и нужда, а кто... и погулять хочет. Вот вы вчера Поликарпа ни много ни мало как на тот свет отправили, а за что? Монастырь какой-то завели... не понимай я вашей хитрости, давно б ушел, человек я вольный и способный.

– Хитрости?

– Можно и другое слово, это как вам понравится.

– Подлости?

– Почему же подлости? Я, Александр Иванович, таких слов не признаю: вы человек умный, да и мы не без ума. Мы уж и то посмеиваемся на мужиков, как вы их обошли, ну, да и то сказать – не всех же и мужиков! Так-то, Александр Иванович, – отчитаться бы миром, а что касается дальнейшего, так мы вас не выдадим: монастырь так монастырь! Потом отгуляем!

Соловьев засмеялся и молодецкато переставил ногу и сплюнул: в ответе он был уверен. И вздрогнул, как под кнутом, когда Жегулев тихо сказал:

– Денег у меня нет.

– Нет?! А где же они?

– Роздал. Выбросил.

– Выбросил?

Соловей задохнулся от ярости и, сразу охрипши, обрываясь, забился в бессознательных выкриках:

– Эй, Сашка, остерегись! Эй, Сашка, тебе говорю!

Жегулев зажал в кармане браунинг и подумал, охваченный тем великим гневом, который, не вмещаясь ни в крик, ни в слова, кажется похожим на мертвое спокойствие:

«Нет, убить мало. Завтра придут наши, и я его повешу на этой березе, да при всем народе. Только бы не ушел».

– Потихе, Соловьев. Будешь кричать, убью, а так, может, и сговоримся.

– Кто кого! – кричал Соловей. – Нас трое, а ты один! Сво-
лочь!

Но крикнул еще раз и смолк недоверчиво:

– Отчитывайся, жулик.

– Деньги у Василия.

– Врешь, подлец!

– Ей-Богу, я тебя пристрелю, Соловьев.

Было несколько мгновений молчания, в котором витала смерть. Соловьев вспомнил вчерашние рожи мужиков на аршинных шеях и угрюмо, сдаваясь, проворчал:

– Убивать-то ты мастер; такого поискать.

– Папироску хочешь?

– Свои есть.

Помолчали.

– А ты когда догадался, что я хитрю?

– Да тогда же и догадался, когда увидел, – угрюмо и все

еще недоверчиво ответил Соловьев, – сразу видно.

Саша засмеялся, думал: «завтра повешу!» – и слукавил несколько наивно, по-гимназически:

– Ну и врешь, Васька: мужики-то до сих пор не догадались!

– Какие не догадались, а какие...

«Или сейчас убить?»

– А какие?.. И все ты, Васька, врешь. Жаден ты, Васька!

– А ты нет? Я в Румынию уйду. Разбойничий век короток, сам знаешь, до зимы дотяну, а там и айда.

Сам же думал: «Хитрит барин, ни копейки не отдаст, своего дружка ждет. Эх, плакали наши сиротские денежки!»

– А совесть, Вася? – тихо засмеялся Жегулев, и даже Соловей неохотно ухмыльнулся, – Совесть-то как же?

– Ты барин, генеральский сын, а и то у тебя совести нет, а откуда ж у меня? Мне совесть-то, может, дороже, чем попу, а где ее взять, какая она из себя? Бывало, подумаю:

«Эх, Васька, ну и бессовестный же ты человек!» А потом погляжу на людей, и даже смешно станет, рот кривит. Все сволочь, Сашка, и ты, и я. За что вчера ты Поликарпа убил? Бабьей... пожалел, а человека не пожалел? Эх, Сашенька, генеральский ты сынок, был ты белоручкой, а стал ты резником, мясник как есть. А все хитришь... сволочь!

– Ты опять?

Соловьев отошел на несколько шагов и через плечо угрожающе бросил:

– Завтра отчитываться... сволочь!

И, презрительно подставляя спину, точно ничего не боясь, неторопливо пошел к своим. Заговорили что-то, но за дальностью не слышно было, и только раз отчетливо прозвучало: сволочь! А потом смех. Отделился Кузька Жучок, подошел сюда и смущенно, не глядя Жегулеву в глаза, спросил:

– Костер-то надо или нет?

– Нет.

– А Соловей приказывает, что надо, – и все так же смущенно и не глядя, заскреб руками по земле, собирая остатки хвороста, – я разожгу. Пусть погорит.

В той стороне бестолково и нескладно в неумелых руках задрезжала балалайка. Жегулев спросил:

– Это что?

– Васька плясать хочет. Петрушина балалаечка. Ушел бы ты куда, Александр Иванович, – раньше он говорил «вы», – у Митрофана две бутылки с водкой.

– Ты пил?

– Я непьющий. Обыск у тебя хочут сделать, не верю, что деньги у Василия.

– А ты веришь?

Жучок поднял на него свое маленькое покорное лицо и, вздохнув, ответил:

– Мне ваши деньги не нужны.

Уходя на свое место на крутогоре, Жегулев еще раз услышал смех и протяжный выкрик: сво-о-лочь! А вскоре за сет-

кою листьев и ветвей загорелся огненный, на расстоянии неподвижный глаз, и вверху над деревьями встал дымный клуб. Не ложились и безобразничали, орали песни пьяными голосами.

Саша еще не знал, какой ужас брошен в его душу и зреет там, и думал, что он только оскорблен: только это и чувствовалось, – другое и чувствоваться не могло, пока продолжались под боком пьяный гомон, наглые выкрики, безобразные песни, притворные в своем разгуле, только и имеющие целью, чтоб еще больше, еще вьедчивее оскорбить его. «Только бы дождаться утра и повесить!» – думал он гневно, не имея силы не слышать; и с одной этой мыслью, не отклоняясь, загоразивая путь всему, что не эта мысль, проводил час за часом. Но не двигалась ночь, остановилась, темная, как и мысль. Интересно, что бы подумал и сказал отец-генерал, если бы слышал, как его сыну нагло и безнаказанно кричали: сволочь! «Ах, только бы дождаться утра и повесить!»

Но не двигалась ночь, и один был, не было возле руки. Раз зашуршало в кустах, и тихий, испуганный голос Жучка окликнул:

– Александр Иваныч! Александр Иваныч, где вы? Я их боюсь.

Ответа не было, и, закрыв на мгновение красный глаз огня, Жучок ушел. И опять потянулась нескончаемая ночь; наконец-то замерзжил нерешительный, нескончаемо-долгий рассвет. Костер едва дымился, и стихли песни: должно быть,

ложатся спать. Но вдруг шарахнуло в ветвях над головою и прозвучал выстрел – что это? Жегулев приложил холодное гладкое ложе к щеке и тщетно искал живого и движущегося. Тихо и немо, и в тишине, возвращаясь из мрака и небытия, медленно выявляются стволы деревьев, торчком стоящая трава. Неужели ушли?

Почти бегом побежал к потухшему костру: пусто. Зазвенели под сапогом склянки от разбитой бутылки; везде кругом белеют снежно разорванные, смятые страницы с мистерами и мистрис. Заглянул в шалаш: разворочено, разграблено – а на подстилке, у самого изголовья, кто-то нагадил. Либо с ними, либо от страху сбежал Жучок и где-нибудь прячется.

Один.

И тут только, избавившись от плена единственной и чуждой мысли, Саша почувствовал ужас и понял впервые, что такое ужас. Закружился, как подстреленный, и громко забормотал:

– Воры! Что же это такое? Воры, воры, ушли... Га-а-ды!

И встало перед глазами лицо вчерашней Глаши и ее полное отвращения, стонущее:

– Га-а-ды! Сашки Жегулевы!

Захотелось пить так, словно только в этом был весь смысл и разгадка настоящего. Но бочонок опрокинут, видимо, нарочно, кувшин также разбит. Догадавшись, полез с кручи к еле бежавшему ручью и только внизу почувствовал неловкость в пустых руках и вспомнил о маузере – куда его бро-

сил? Но когда напился и намочил лицо и волосы, стал изображать и долго смотрел на крутой, поросший склон, по которому сейчас то полз он, то катился, ударяясь о стволы. Нашупал, не глядя, разорванную ткань на колене, а под ней тихо ноющую ссадину. Что это за ручей – был он здесь когда-нибудь?

Еще много часов оставалось до прихода Колесникова, и за эти часы пережил Саша ужаснейшее – даже самое ужасное, сказал бы он, если бы не была так бездонно-неисчерпаема кошница человеческого страдания. Все еще мальчик, несмотря на пролитую кровь и на свой грозный вид и имя, узнал он впервые то мучительнейшее горе благородной души, когда не понимается чистое и несправедливо подозревается благородное. Справедлива совесть, укоряя: он пролил кровь невинных; справедлива будет и смерть, когда придет: он сам разбудил ее и вызвал из мрака; но как же можно думать, что он, Саша, бескорыстнейший, страдающий, отдавший все – хитрит и прячет деньги и кого-то обманывает! Чего же тогда нельзя подумать про человека? И чего же стоит тогда человек – и все люди – и вся жизнь – и вся правда – и его жертва!

Жить рядом и видеть ежедневно лицо, глаза, жать руку и ласково улыбаться; слышать голос, слова, заглядывать в самую душу – и вдруг так просто сказать, что он лжет и обманывает кого-то! И это думать давно, с самого начала, все время – и говорить «так точно», и жать руку, и ничем не об-

наруживать своих подлых подозрений. Но, может быть, он и показывал видом, намеками, а Саша не заметил... Что такое сказал вчера Колесников об Еремее, который ему не понравился?

О, ужас! Кто скажет, что все они не думают так же, но молчат и ждут чего-то, а потом придут и скажут: вор! Мать... а она знает наверное? А Женя Эгмонт?..

На мгновение замирает мысль, дойдя до того страшно-го для себя предела, за которым она превращается в голое и ненужное безумие. И начинает снизу, оживает в менее страшном и разъяряется постепенно и грозно – до нового обрыва.

...А те бесчисленные, не имеющие лица, которые где-то там шумят, разговаривают, судят и вечно подозревают? И если уж тот, кто видел близко, может так страшно заподозрить, то эти осудят без колебаний и, осудив, никогда не узнают правды, и возьмут от него только то гнусное, что придумают сами, а чистое его, а благородное его... да есть ли оно, благородное и чистое? Может быть, и действительно – он вор, обманчик, гад?

Останавливается мысль. Спокойно, как во сне, Саша закуривает папиросу и громко, разговорно, произносит:
– Сегодня опять будет облачно.

О том, что он произнес эту фразу, он никогда не узнал. Но где же недавняя гордая и холодная каменность и сила? – ушла навсегда. Руки дрожат и ходят, как у больного; в чер-

ные круги завалились глаза и бегают тревожно, и губы улыбаются виновато и жалко. Хотелось бы спрятаться так, чтобы не нашли, – где тут можно спрятаться? Везде сквозь листья проникает свет, и как ночью нет светлого, так днем нет темного нигде. Все светится и лезет в глаза-и ужасно зелены листья. Если побежать, то и день побежит вместе...

Ах? Кто-то идет.

Все ближе и ближе подходит странный Еремей. Почему-то улыбается и почему-то говорит:

– Здравствуй, Александр Иванович.

И повторяет:

– Здравствуй, Александр Иванович.

Но уже заметил, по-видимому, в каком состоянии Саша, хотя и не совсем понимает: остановился и смотрит жалостливо, с участием... или это кажется Саше, а на самом деле тоже думает, что он вор и попался? Саша улыбается, чистит испачканный бок и говорит, немного кривя губами:

– Ах, это ты, Еремей. А я тут... бок испачкал. Показалось мне...

– Сашенька!

Это он сказал: Сашенька... Кто же он, который верит теперь – лучший человек на земле или сам Бог? И так зелены листья, вернувшиеся к свету, и так непонятно страшна жизнь, и негде укрыться бедной голове!

В бреду Саша. Вскрикнув, он бросается к Еремею, падает на колени и прячет голову в полах армяка: словно все де-

ло в том, чтобы спрятать ее как можно глубже; охватывает руками колени и все глубже зарывает в темноту дрожащую голову, ворочает ею, как тупым сверлом. И в густом запахе Еремея чувствует осторожное к волосам прикосновение руки и слышит слова:

– Сашенька, миленький... Головушка ты кудрявенькая, душенька ты одиноченькая. Испужался, Сашенька?

Васька Соловьев, назвавшись Жегулевым, собрал свою шайку и вплотную занялся грабежом, проявляя дикую и зверскую жестокость. Одновременно с ним появился и другой, никому неведомый самозванец, плетшийся в хвосте обеих шайк и всех сбивавший со следа.

11. Елена Петровна

Елену Петровну вызвал к себе губернатор, назначив время вечером в неприемный час.

Задолго до назначенного времени послали за Извозчиком – поблизости от Погодиных и биржи не было – и наняли его туда и обратно. Линочка помогла матери одеться и со всех сторон оглядела черное шелковое, на днях сшитое платье, и они остались довольны: платье было просто и строго. Вынули драгоценности; на отвыкших похудевших пальцах покраснелись и засверкали камешки; густая брильянтовая брошь, тяжелая от камня, долго с непривычки чувствовалась выпершими старческими ключицами сквозь тонкий шелк. На левой стороне груди Елена Петровна приколола, как жетон, маленькие, давно не идущие часики на короткой бантиком цепочке и уж больше ничего не могла надеть, так как все остальное годилось только для декольте и пышной молодой прически. Надевая же, о каждой вещице рассказала Линочке давно известную историю.

Готова Елена Петровна была за целый час, но на извозчика села с таким расчетом, чтобы опоздать на десять минут; и эти добровольные, искусственные десять минут показались обоим самыми долгими, губернатор же о них даже и не догадался.

– А очки? – спохватилась Линочка уже в передней и неза-

метно смахнула с глаз слезу. – А очки-то и забыла, старушечка.

Очки, действительно, забыла Елена Петровна, только недавно стала носить и еще не привыкла к ним, постоянно теряла. Наконец нашлись и очки, и уже поспешно сели обе, поправляясь на ходу: Линочка должна была ждать Елену Петровну на извозчике. Смеркалось и было малоллюдно; пока ехали по своей улице и через пустынный базар, сильно пылили колеса, а потом трескуче, по-провинциальному, запрыгали по неровному камню мостовой. Мелькнул справа пролет на Банную гору и скрытую под горой реку, потом долго ехали по Московской улице, и на тротуарах было оживление, шаркали ногами, мелькали белые женские платья и летние фуражки: шли на музыку в городской сад.

– Так смотри же, мамочка! – неопределенно попросила Лина, помогая матери слезть. – Я тебя жду.

В пустом кабинете губернатора, куда прямо провели Елену Петровну, стояла уже ночь: были наглухо задернуты толстые на окнах портьеры, и сразу даже не догадаться было, где окна; на столе горела единственная под медным козырьком неяркая лампа. Глухо, как за стеной, прогремит извозчик, и тихо. Но внутри, за дверью, шла жизнь: говорили многие голоса, кто-то сдержанно смеялся, тонко звякали стаканы – по-видимому, только что кончался поздний, по-столичному, губернаторский обед. Не торопясь, дрожащими руками Елена Петровна открыла футляр с золотыми очками и осмотрела

комнату, но ничего не увидела в темноте. Мебель и какие-то картины.

Внезапно распахнулась дверь, и быстрыми шагами вошел Телепнев, губернатор. Елена Петровна медленно привстала, но он, пожимая тонкую руку, поспешно усадил ее.

– Прошу вас, прошу вас, Елена?..

– Елена Петровна.

От Телепнева сильно пахло вином, толстая шея над тугим воротником кителя краснела, как обваренная кипятком, и лицо с седыми подстриженными усами было вздуто и апоплексически красно. На несвежем, зеленовато-желтом кителе пристал пепел от сигары, и вообще что-то несвежее, равнодушное к себе было во всем его генеральском облике. Говорил он громко и очень быстро, округляя губы и недоговоренные слова заменяя пожатием плеч под погонями или наивным вздергиванием бровей; легко с виду становился свирепым, но не страшным. Много кашлял и после каждого припадка кашля мучительно краснел, и в глазах появлялось выражение испуга и беспомощности.

– Вам угодно было пригласить меня...

– Да, да! Бога ради, простите, Елена Петровна, что... Но мое положение хуже губернаторского!

Он засмеялся, но не встретил ответа и подумал: «Какая икона, не люблю с такими разговаривать!» И, внезапно рассвирепев, двигая погонями и бровями, торопливо заговорил:

– Я шучу, Елена Петровна, но!.. Только из уважения к па-

мяти вашего супруга, моего дорогого и славного товарища, я иду, так сказать, на нарушение моего служебного долга. Да-с!

И строго добавил, поднимая брови и толстый палец:

– Он был святой человек! Мы все, его однокашники, чтим его память, как!.. Скажу без преувеличения: доживи он до сегодняшнего дня – да-с! – и он был бы министром, и, смею думать, дела шли бы иначе! Но!..

Он развел руками и вздохнул:

– Честнейший человек, и жаль, что... Вы мне разрешите курить, Елена Петровна? Только табаком и живу.

– Пожалуйста, вы у себя дома, – сухо ответила Елена Петровна, а про себя подумала: «невежа!».

– Да-с, нарушение долга, но что поделаешь? Ужасные времена, ужасные времена! Искренно страдаю, искренно боюсь, поверьте, нанести жестокий удар вашему материнскому сердцу... Но не прикажете ли воды, Елена Петровна?

Елена Петровна слабо ответила:

– Благодарю вас, не надо.

Телепнев болезненно сморщился и, понизив голос, сказал:

– Искренно страдаю, но, Боже мой!.. Вам известно... но нет, откуда же вам знать? Вам известно, что этот... знаменитый разбойник, о котором кричат газеты – Сашка Жегулев! – при перечислении он с каждым словом свирепел и говорил все громче. – Сашка Жегулев есть не кто иной, как сын ваш,

Александр?

До этой минуты Елена Петровна только догадывалась, но не позволяла себе ни думать дальше, ни утверждать; до этой минуты она все еще оставалась Еленой Петровной, по-прежнему представляла мир и по-прежнему, когда становилось слишком уж тяжело и страшно, молилась Богу и просила его простить Сашу. До этой минуты ей казалось, и это было чуть ли не самое мучительное, что она умрет от: стыда и горя, если ее страшные подозрения подтвердятся и кто-нибудь громко скажет: твой сын Саша – разбойник. А с этой минуты весь мир перевернулся, как детский мяч, и все стало другое, и все понялось по-другому, и разум стал иной, и совесть сделалась другая; и неслышно ушла из жизни Елена Петровна, и осталась на месте ее – вечная мать. Что это за сила, что в одно мгновение может сдвинуть мир? Но он сдвинулся, и произошло это так неслышно, что не услышали ничего ни Телепнев, ни сама Елена Петровна. Просто: на миг что-то упало и потемнело в глазах, а потом стало совершенно так же, как всегда, и была только тихая радость, что Сашенька жив. И еще, вскользь, определилась и мелькнула мысль, что надо будет сегодня, когда вернется домой, помолиться сыну Сашеньке.

Губернатор, чтобы дать оправиться, нагнул и с притворным гневом фыркал над какими-то бумагами, но все большее становилось молчание.

– Вы молчите, Елена Петровна?

Она шевельнулась в полумраке, хрустнув шелком, мыс-

ленно пригладила волосы и с достоинством ответила:

– Благодарю вас, генерал, за любезность.

«Какая любезность?» – с недоумением подумал Телепнев, но все же обрадовался, что миновало, и так благополучно. Но ведь еще не все! И снова бурно застрадал:

– Ужасные времена, что делается! Но, дорогая Елена Петровна, это еще не все, что я имею доложить, и только в память дорогого Николая Евгеньевича... Ваш Саша, насколько мне известно, хороший мальчик и...

– Да, Сашенька хороший мальчик. Я вас слушаю, генерал.

– Хороший мальчик! – повторил Телепнев и в ужасе поднял обе руки. – Нет, подумать только, подумать только! Хороший мальчик – и вдруг разбой, гр-р-рабительство, неповинная кровь! Ну пойдешь там с бомбой или этим... браунингом, ну это делается, и как ни мерзко, но!.. Ничего не понимаю, ничего не понимаю, уважаемая, стою, как последний дурак, и!..

Уже не думая о посетительнице, болея своей болью, он отбросил кресло и заходил по комнате, кричал и жаловался, как с женою в спальне, и было страшно за его красное, вздутое лицо:

– Говорят: зачем вешаешь, зачем вешаешь? Эта дура бабабанная, болонка африканская тоже: у тебя, Пьер, руки в крови, а? Виноват... здесь интимное, но!.. Да у меня, милостивые государи и всякие господа, голова поседела за восемь месяцев, только и думаю, чтобы сдохнуть, одна надежда на

кондрашку! Да у меня, милостивые государи, у самого де-ти...

Он остановился и кулаком гулко ударил себя в грудь:

– Дети! А что будет с ними завтра, я знаю? Нет: я знаю, что будет с ними завтра?

Елена Петровна что-то вспомнила из далекого прошлого и неуверенно спросила:

– Кажется, Петя? – думая, – «ровесник моему Сашеньке».

Телепнев свирепо ответил:

– Да-с, Петя! Именно Петя! Каждый день просыпаюсь и жду, что... Вчера приходит этот адвокат, плачет, старая каналья – виноват! – похлопочите, Петр Семенович, у вас связи, завтра моего, как его... Сашу, Петю, вешают! Ве-е-шают! Ну и пусть вешают. Пусть, пусть, пусть!

Что-то еще хотел крикнуть, но обиженно замолчал. Вынул одну папиросу, – сломал и бросил в угол, вынул вторую и с яростью затаился, не рассчитав кашля: кашлял долго и страшно, и, когда сел на свое кресло у стола, лицо его было синее, и красные глаза смотрели с испугом и тоской. Проговорил:

– Да-с!

Помолчали.

– Так вот, Елена Петровна, – заговорил Телепнев устало и тихо, – дело в следующем. Этот ваш хороший мальчик... ведь он хороший мальчик! – наверное, захочет повидать вас, да, да, конечно, как-нибудь воровски, ну там через забор или

в окно... Так вот, Елена Петровна, – он многозначительно понизил голос, – за вашей квартирой установлено наблюдение, и его схватят. Уезжайте.

Елена Петровна тяжело дышала, хватаясь за грудь, где приколоты были часики. Покачивалась взад и вперед, и тугой шелк поскрипывал.

– Елена Петровна!..

– Се... Сейчас.

Дыхание стало не так шумно.

– Конечно, надо бы предупредить, но... Надеюсь, впрочем, вы не имеете сношений с преступником, негодяем, иначе!..

– Сейчас.

– Уезжайте, Елена Петровна, совсем из города, совсем.

– Нет, я не уеду.

– Что-с? Впрочем, воля ваша. Не смею настаивать... но подумайте же, сударыня, подумайте! Или вы хотите?..

– Я переменю квартиру. Он не узнает. Сашенька, придешь ты, а мать-то твоя убежала, убежала мать, мать-то.

Откровенно, по-старушечьи, она подставила глазам губернатора свое искаженное слезами лицо и, смотря на него, как на Сашеньку, повторяла, покачивая головой:

– А мать-то убежала... убежала.

Телепнев оперся головой на руки, оставив на виду только морщинистый, бритый, дрожащий подбородок, и молчал. Глухо, как за стеной, прогромыхал извозчик. Тишина стояла

в губернаторском доме, было много ненужных комнат, и все молчали, как и эта.

Елена Петровна вытерла под очками глаза, потом сняла очки и положила в футляр, вздыхая. Опустила футляр в сумочку и встала. Встал и Телепнев и приготовился к поклону. Но, к удивлению его, Елена Петровна посмотрела на него задумчиво и с достоинством, сухо и гордо, как генеральша, спросила:

– Я очень вам благодарна, Петр Семенович... но не ответите ли вы мне на мой женский вопрос: по какой вашей морали допустимо, чтобы подстерегали мальчика, идущего на свидание к матери?

Телепнев угрюмо и нетерпеливо повел погонями:

– Оставим это, Елена Петровна. Ваш вопрос, извините, действительно женский.

– Да? не спорю. Но по какой вашей мужской морали сын, идущий к матери, должен быть схвачен? Не должны ли вы все склониться и закрыть глаза, пока он проходит? А потом уж хватайте, там, где-нибудь, где хотите, я этого не знаю.

– Он не сын, а... преступник, злодей! Убийца!

– Вы думаете? Но, когда он идет к матери, он только сын. Сын не может быть убийца, опомнитесь, генерал!

Телепнев сердито притворился смеющимся:

– С такой логикой, сударыня... Все негодяи от кого-нибудь да родились же!..

– От отцов.

– Тогда черт – виноват! – возьми отцов. Но, позвольте! – это чепуха, вы сами виноваты, раз не даете детям вашим воспитания.

– Нет, это вы виноваты. Зачем заставляете нас рожать? чтобы потом их вешать?

– Чепуха! Бабья логика!

Они бранились, как старики, и никто бы не подумал, войдя со стороны, что он губернатор, а она просительница, мать разбойника Сашки Жегулева. Телепнев, краснея, кричал:

– Честных людей мы не вешаем, а разбойников будем вешать всегда, сам Бог установил Страшный суд! Страшный суд – подумайте-ка, это вам не наша скорострелка, да-с!

Елена Петровна вдруг совсем тихо, почти шепотом сказала:

– Это неправда: Страшного суда нет.

Теперь уж не притворно, но еще сердитее засмеялся губернатор:

– Так-с, теперь и Страшный суд не надо! Для Сашеньки с Петенькой, может быть, и Бога не надо? Нет-с, ваш Сашенька зверь, и больше ничего! Вы читали, нет, вы читали, что этот самый Сашка Жегулев на днях помещика пытал, на огне, подлец, жег подошвы, допытывался денег. Это как вы назовете?

Елена Петровна села.

– А стрелочника с детьми кто зарезал? Я или вы? А... да что! Впрочем... Вам не дать воды? Ну, не надо воды... Эх,

Николай Евгеньич, Николай Евгеньич, хорошо, друг, что не дожил ты до!.. Хороший мальчик... Нет, ничего не понимаю, хоть самого повесьте.

Елена Петровна встала и спокойно промолвила:

– Это не Саша сделал.

– Не спорю!

– А если Саша, то, значит, так надо, и это хорошо.

– Что-с?!

Шагнул даже вперед и – вдруг ему стало страшно. И даже не мыслями страшно, а почти физически, словно от опасности. Вдруг услышал мертвую тишину дома, ощутил холодной спиной темноту притаившихся углов; и мелькнула нелепая и от нелепости своей еще более страшная догадка:

«Сейчас она выстрелит!» Но она стояла спокойно, и проехал извозчик, и стало совестно за свой нелепый страх. Все-таки вздрогнул, когда Елена Петровна сказала:

– До свидания. Будьте добры, генерал, проводите меня, я не знаю дороги.

– Виноват! К вашим услугам.

У первой ступеньки на каменную лестницу, красневшую своей суконной дорожкой, он простился с Еленой Петровной и на мгновение, пожимая холодную, прозрачную старую руку, задумался в нерешимости: не поцеловать ли? Но мысленно махнул рукой и в отчаянии подумал: «Все равно! Эх, кондрашка бы поскорее!»

Линочка издали увидела, – ближе не позволили извозчику

остановиться, – как вышла из стеклянной двери мать, поддерживаемая почтительно швейцаром, и долго копалась в сумочке, чтобы дать на чай. И когда села наконец мать и тронулся извозчик, Линочка взглянула на нее и, громко плача, спросила:

– Мамочка, ну что?

12. Пустые дни

В июле для Сашки Жегулева и его лесных братьев наступил неожиданный роздых.

Отяжелел хлебный колос – и земля, горько проклинаямая за бесплодие, ненавидимая за тесноту, вечно обманывающая земля властно потянула к себе: и ушла в труд, рассеялась по полям трудолюбиво взволнованная рать Гнедых, добровольных Жегулева приспешников. Прекратились поджоги и разгромы усадеб; выполз с жатвенной машиной осмелевший помещик, приказчик осипшим от молчания голосом закричал на баб – наступило перемирие. Васька Соловей со своими злодеями ушел в дальний, сплошь лесной уезд и там промышлял около железной дороги и почты, собираясь, по слухам, перекинуться на реку – по старому доброму разбойничьему обычаю. Из пребывания своего у Жегулева он вынес опыт, что без мужика долго не проживешь, а пожалуй, и страх перед мужиком, и для доброго имени совершил несколько нехитрых фокусов: в одном дружественном селе, на праздник, притворяясь пьяным, с разными чувствительными словами, щеголяя, выбросил толстый бумажник на драку; и по примеру воткинского Андрона добыл-таки волостного старшину и среди бела дня, под хохот мужиков, выдрал его розгами. Это действительно дало ему доброе имя. А так как жил он разгульно и весело и вся шайка купалась

в вине, то шли к нему охотно, и вся голытьба, не сживавшаяся с Жегулевым, липла к нему, как мухи на падаль. И так возросла его сила, что грозился он при встрече перерезать горло самому Жегулеву, презрительно называл его барином и кричал об обмане и подлости.

Но на страдную пору притих и Соловей, а Жегулеву с его немногими коренными пришлось и совсем побездействовать; и уже казалось порою, что прежнее кончилось и больше не вернется. Словно в полузабытьи, теряли они счет пустым и скучным дням, похожим друг на друга, как листья с одного дерева; начались к тому же невыносимые даже в лесу жары и грозы, и во всей природе наступило то июльское бездействие и роздых, когда перестает видимо расти лист, остановились побеги, и лесная, редкая, никому не нужная трава словно тоскует о далекой острой косе. Что делали? Прятались от проливных с грозой дождей и выкопали землянку; одно время повадились мирно ломать грибы, но те скоро в жаре прошли; говорили о пустяках, местных мужицких делах, слушали рассказы о Ваське Соловье. Но не говорили ни о прошлом, ни о будущем. Да и вообще стали молчаливы, незаметно уподобляясь лесу, как-то научились ничего не делать, как не делает ничего ожидающий ездока извозчик, или — заряженный браунинг.

Колесников с неделю помучился от острого ревматизма ног и еще более пожелтел и высох; был ровно мрачен и минутами задумывался почти до столбняка. Чуть ли не больнее,

чем Сашу, поразила его история с Соловьевым, перепутала все его расчеты и соображения, загнала в какой-то дикий, сумасшедший тупик. То, что издали, в широком обхвате глаза, казалось понятным и достижимым, вблизи утеряло свой ясный смысл, разменялось на тысячу маленьких действий, разговоров, смутных настроений, частичных выкладок и соображений. Так с берега смотрит пловец на бушующее море и видит ясный порядок, в котором движутся валы, и соображает, как плыть; но вот он в воде – все изменилось, на месте порядка хаос, взамен закона – своеволие.

Не то страшно в Соловьеве, что он подлец, даже и не то, что он не поверил в ихнюю чистоту, а то – что действия его похожи и называется он также Сашка Жегулев. Так же отдает деньги бедным, – такая идет о нем молва, – так же наказывает угнетателей и мстит огнем, а есть он в то же время истинный разбойник, грабитель, дурной и скверный человек. Еще различают Сашек Жегулевых мужики, но, видимо, с каждым днем стираются границы и теряется понимание: уже похваляют иронически Соловья и с меньшим уважением относятся к Саше, говорят: твой-то Соловей!.. Зачем же тогда чистота, зачем бескорыстие и эти ужасные муки? – кто догадается о жертве, когда потерялся белый агнец в скопище хищных зверей и убойного скота, погибает под ножом безвестно!

– За что погубил я Сашу? Предатель я! – часто думает Колесников, но еще не решается признать своих мыслей за последнюю истину, колеблется, надеется, на лицах ищет от-

вета. Что же будет с ним, когда признает? – Об этом и гадать страшно.

Задумывается и Андрей Иванович. По-прежнему молчаливый, услужливый, скромный, словно совсем не имеющий своих радостей, своего горя и воспоминаний, порою он так удивленно оглядывался красиво-спокойными глазами, как будто искал что-то ненайденное; и, снова ничего не найдя, покорно отдавался ожиданию и темной воле других. Из всех троих он один сохранил чистоту одежды и тела: не говоря о Колесникове, даже Саша погрязнул и, кажется, не замечал этого, а матрос по-прежнему через день брил подбородок и маленькой щеточкой шмурыгал по платью; смешал пороху с салом, чтобы чернело, и смазывал сапоги. И было у него одно тайное мученье, нечто вызывавшее чувство нестерпимого стыда и чуть ли не отчаяния: это маленькая незаживающая рана на левой ноге, под коленом, у кости. Задела как-то шальная пуля, и показалось, что завтра заживет, а вместо этого прикинулось, въехалось в кость, стало нехорошо пахнуть. Уходя в лес, он подолгу возился с гниющей раной и по-своему врачевал ее: поливал керосином, раз прижег даже порохом, но не помог и порох. При других он не купался, чтобы не увидели, и на ходу, выдерживая боль, старался не хромать. Главное, в чем стыд, – пахло нехорошо.

Считалось их в эту затишную пору всего семеро: они трое, Федот, никуда не пожелавший идти со своим кашлем, Кузька Жучок, Еремей и новый – кривой на один глаз, неумный

и скучный парень, бывший заводской, по кличке Слепень. Еремей было ушел, потянувшись за всеми, но дня через три вернулся с проклятьями и матерной руганью.

– Да стану я ее тревожить? – кричал он презрительно про свою полосу, – да нехай она, как стояла, так и стоит до самого Господнего суда. Колоса тронуть не позволю, нет моей воли, пусть сам посмотрит, на чем Еремей сидит! Нет моего родительского благословения, три дня пил и еще три дня пить буду! – если деньжонок дадите, Александр Иванович.

Но денег ему не дали, и он остался в лесу лежать.

– Ляжать буду! – заявил он угрюмо и лег на спину, чтобы виднее с неба было, что он именно лежит и ничего не делает. И как над ним ни смеялись, как ни ругал его матрос, – он замкнулся в презрительное молчание и лежал истово, с ненавистью, с тоскою, с бунтом. Мужички веруя в труд, он в этом состоянии нарочитого безделья самому себе казался ужасным, невероятным, более грешным и бунтующим, чем если бы каждый день резал по человеку или жег по экономии: резать – все-таки труд. Этого не понимал Колесников и ругательски ругался:

– Иди землянку копать, черт!

Снизу вверх пренебрежительно, даже без досады смотрел Еремей и кратко отвечал:

– Не пойду.

– Да для народа же, чучело, сам же под крышу лезешь, как дождь идет. Иди, того-этого.

– А... мне на твой народ.

– Ну и не пуцу под крышу!

– Бреешь, Василь, пустишь.

Даже не улыбается, а говорит себе просто и с легким сожалением, нехотя беседует. Так и остался лежать, а в дождь забирался под крышу и иронически ухмылялся, – совсем рехнулся мужик.

Но точно и все лежали – бесконечно тянулось пустое и бездеятельное время. Раз невмоготу стало и, подумав, отправились втроем в гости, в Каменку, к одному знакомцу, верному и хорошему человечку. Там мирно пили чай с баранками и уже решили было заночевать, но воспротивился Колесников. Он вышел посмотреть, что делается на улице, и понравилось черное на западе небо, тревога туч, побелевшие в жутком ожидании ракиты. Днем под солнцем деревня с своими прогнившими соломенными крышами казалась черною, а теперь точно выбелили ее и вымели начисто, вылепили как игрушку из серой глины. Пройди человек, и он показался бы глиняным, но попряталось все живое.

– Идем, ребята, пречудесно! – сказал Колесников, сгибаясь в низенькой двери и внося с собою крепкий запах свежего перед дождем воздуха. – Душа радуется.

И от слов, и от радостного лица, а главное, от этого крепкого и вольного запаха, которым сразу зарядилось платье и борода Колесникова, – в избе стало душно и скучно, и показалось невозможным не только ночевать, а и час лишний

провести. Весело заторопились.

– Замочит! – уговаривал знакомец, – а то и громом зашибет, на большаке беда, намедни три ракиты выжгло. Оставались бы, Александр Иваныч, да и ты, матрос, пусть Василь один идет!

Посмеялись, но внезапное решение сложилось так твердо, как это, кажется, только и бывает с внезапными, да еще и причудливыми решениями; и уже через пять минут шагали между плетнями, пьяные от тяжкого и возбужденного запаха конопли; выбирались на большак.

– Ну и хорошо же! – повторял Колесников и как-то особенно на ходу выгибал колена, чувствуя в себе что-то лошадиное, способное к бесконечному ходу и резвости.

– А ведь время-то совсем раннее! – весело подтвердил матрос, пряча часы в замшевый футляр.

– Да ну? а сколько?

– Тридцать пять минут восьмого! – Да ну! А я думал, что девять, не меньше... Ночевать, нет уж, спасибо, того-этого. Хо-хо-хо!

Засмеялись; и все трое вспомнили почему-то кроткого Петрушу, но без обычной боли, а с тихим умилением и отпускаящей жалостью. Вздохнули – и еще резвее заработали ногами.

– Саша! хорошо?

– Хорошо, Вася.

Радовало все: и то, что не идут по делу и не уходят от по-

гони, а как бы гуляют свободно; и то, что нет посторонних, одни в дружбе и доверии и не чувствуют платья, как голые. После кривых и узких переулков, затемненных огорожей и деревьями, большак удивил шириною и светом, и щедрыми представились те люди, что могли так много места отвести под дорогу. Но и тут, как на деревне, все казалось выбеленным, вылепленным из серой глины и навеки в ожидании застывшим. Застыла как будто и грозовая туча, в безветрии еле подвигаясь на своих невидимых крылах; забеспокоился Колесников:

– Да еще будет ли? Не прошло бы так!

– Будет! – уверенно ответил Саша, серый, как все кругом. – Ну и безлюдье же!

– Стой! подметка оборвалась, – крикнул Колесников сердито и запрыгал на одной ноге, стараясь оторвать закруглившуюся, тонкую, отставшую кожу. Хохотали, на него глядя, и Андрей Иванович сказал:

– Да вы сядьте, Василь Василич... ну и чудак!

– А вы лучше ножик дайте, чем... Эх!

Колесников сел и, ругательски ругая сапоги, те самые, что были гордостью когда-то, отрезал выющийся кончик и почувствовал удовольствие, как настоящий оператор: ловко!

Саша серьезно сказал:

– Надо новые, Василий, в случае беды бежать в этих...

– Хороши и эти, я их поправил. Ходу!

Быстро угасал свет, как под чьею-то рукою; и уже в полной

темноте, чернильном мраке, разразилась запоздавшая медленная гроза и хлынул потоками проливной теплый дождь: пречудесно! Мгновенно налились водою колдобины и колеи, под ногами размокло, поползло, зашлепало, до нитки промокло платье, и щекотали лицо и губы крепкие струи – трубою гудел дождь, теплейший ливень. Зевали молнии, нагоня одна другую, ветвясь дрожаще и тонко; ломаясь коленами – вверх и вниз, поспешая, катался гром, грохотал по лестнице, всю черную высь заполнил ревом. Если бы не молнии – не только не найти дороги, а и друг друга потеряли бы в плещущейся темноте, изначальном хаосе. Колесников не то пел, не то так ревел от восторга, но при свете был виден только открытый рот, а в темноте только голос слышен: разделился надвое.

В промежутках темноты весело перекликались; долго стояли перед мостиком, никак не могли понять при коротких ослепляющих вспышках: вода ли это идет поверху, или блестят и маячат лужи. В темноте, пугая и веселя, редела вода; попробовал сунуться Колесников, но сразу влез по колена – хоть назад возвращайся!

– Пройдем, ничего! – возбужденно говорил матрос. – Перильца-то держатся!

– Снесет, того-этого, за ноги тащит!

– Идем!

Проскочили: шатались под ногами мостовины, и вода тащила коварно, сбивая под ножку, и упал-таки Колесников,

поскользнувшись, но, по счастью, при выходе – только испу-
пался.

Еще чудесный час шли они под грозою, а потом в тишине
и покое прошли густо пахнувший лес, еще подышали сонной
коноплею на задворках невидимой деревни и к двум часам
ночи были в становище, в своей теплой и почти сухой зем-
лянке.

– Какое блаженство: культура! – гудел Колесников, укла-
дываясь спать. – Тебе нравится, Сашук?

– Я еще прошелся бы.

– Можно простудиться. Но какой чудесный вечер!

И, когда Саша уже засыпал, вдруг запел несносным фаль-
цетом, подражая знаменитому тенору:

– Привет тебе, приют невинный, привет тебе, приют...

Было так глупо, что оба захохотали.

– Буде, того-этого. Спать!

13. Ярость

– Что? наработали? – злорадствовал, лежа, Еремей, с приятностью встречая возвращающихся, словно побитых мужиков, – ложись-ка, брат, да полежи, мне земли не жалко!

Обманула земля. Еще уборка не отошла, а уж повалил к Жегулеву народ, взамен надежд неся ярость и точно ослепший, ко всему равный и беспощадный гнев. Кончились дни затишья и ненужности. Многие из пришедших точно стыдились, что их удалось обмануть, избегали взгляда и степенничали, смягчая неудачу; но были и такие, что яростно богохульствовали, орали как на сходке, в чем-то попрекая друг друга:

– Я у тебя хлеба прошу, а ты мне что даешь? Ты мне что даешь, я тебя спрашиваю!

– Только и остается, что...

– Нет, ты мне ответь: я у тебя чего прошу?..

Колыхнулось первое после затишья зарево, и вновь закружил огонь, страшный и послушный бог бездольного человечества. И если раньше что-то разбиралось, одного жгли, а другого нет, держали какой-то свой порядок, намекающий на справедливость, то теперь в ярости обманутых надежд палили все без разбора, без вины и невинности; подняться к небу и взглянуть – словно сотни и тысячи костров огромных раскинулись по темному лону русской земли. И если раньше

казалось Жегулеву, что он чем-то управляет, то теперь, подхваченный волной, он стремительно и слепо неся в огненную темноту – то ли на берег, то ли в пучину.

Вначале даже радостно было: зашумел в становище народ, явилось дело и забота, время побежало бездумно и быстро, но уже вскоре закружилась по-пьяному голова, стало дико, почти безумно. Жгли, убивали – кого, за что? Опять кого-то жгли и убивали: и уже отказывалась память принимать новые образы убитых, насытилась, жила старыми.

Разбивали винные лавки, и мужики опивались до смерти; и все пили, и появилась в стану водка, и всегда кто-нибудь валялся пьяный и безобразный; только характером да отвращением к памяти пьяного отца удержался Саша от соблазнительного хмеля, порою более необходимого, чем дыхание. Удержался и Колесников, но Андрей Иванович был два раза пьян, в хмелю оказался несносным задирой и подрался, и несколько дней, умирая от стыда, ходил с синяками и опухlostями на чисто выбритом лице. После этого, впрочем, он больше не пил. Опился и сгорел на пожаре Иван Гнедых, шутник, то ли мертвый уже, то ли крепко до самой смерти уснувший.

Что-то дикое произошло при встрече с Васькой Соловьевым. В яростном и безумном, что теперь творилось, Соловьев плавал, как рыба в воде, и шайка его росла не по дням, а по часам. Ушли к нему от Жегулева многие аграрники, недовольные мягкостью и тем, что ничего Жегулев не обещал;

набежали из города какие-то темные революционеры, появились женщины. Раз при нападении на поезд, вообще кончившемся неудачей, Ваське удалось щегольнуть бомбами – доставил кто-то из городских: и многие пленились его удалью. Точно колеблясь, он именовал себя то Жегулевым, то по-настоящему с некоторой робостью заявлял, что он Васька Соловьев, и вновь прятался за чужое, все еще завидное имя. Вообще же чувствовал себя великолепно, жил как в завоеванной земле и в пьяном виде требовал от мужиков, чтобы приводили девок. Непослушных таскал за бороды – осмелел. Через Митрофана-Не пори горячку завел сношения с полицией, говоря великодушно: всем хватит! И признавал себя благодетелем, о чем, пьяный, заявлял со слезами.

Встретились обе шайки случайно, при разгроме одной и той же винной лавки, и, вместо того чтобы вступить в пререкания и борьбу, побратались за бутылкой. А обоих атаманов, стоявших начеку с небрежно опущенными маузерами, пьяные мужики, сунув в руки бутылки с отбитыми горлышками, толкали друг к другу и убеждали помириться. И Васька, также пьяный, вдруг прослезился и отдал маузер Митрофану, говоря слезливо:

– Господи, да разве я что! Я понимаю. Александр Иваныч так Александр Иваныч!

Он был уже не в черной, а в синей поддевке с серебряными цыганскими круглыми пуговицами и уже вытирал рот для поцелуя, когда вдруг вскипевший Колесников кинулся

вперед и ударом кулака сбил его с ног. На земле Васька сразу позабыл, где он и что с ним, и показалось ему, что за ним гонятся казаки, – пьяно плача и крича от страха, на четвереньках пополз в толпу. И мужики смеялись, поддавая жару, и уступками толкали его в зад – тем и кончилось столкновение.

– Успокойся, Саша! Тебе говорю, успокойся! – глухо говорил Колесников, своей широкой ладонью закрывая дуло маузера и сам весь дрожа от гнева. – Я... я его ударил, с него довольно, успокойся, Саша!

– Он без оружия. Но если он еще...

– Нет, нет, успокойся, его убрали.

Странно во всех делах вел себя Еремей: созерцателем. Всюду таскался за шайкой, ничему не мешал, но и не содействовал; и даже напивался как-то снисходительно. Но в одном он всех опережал: смотрел, позевывал – и, не ожидая приказа, рискуя поджечь своих, тащил коробок со спичками и запаливал; и запаливал деловито, с умом и расчетом, раньше приняв шайку к ветру. Если был поблизости народ, то и пошучивал.

И захваченные волной, ослепшие в дыму пожаров, не замечали они, ни Саша, ни Колесников, того, что уже виделось ясно, отовсюду выпирало своими острыми краями: в себе самой истощалась явно народная ярость, лишенная надежд и смысла, дотла, вместе с пожарами, выгорала душа, и мертвый пепел, серый и холодный, мертво глядел из глаз, над ко-

торами еще круглились яростные брови. И не видели они того, что уже других путей ищет народная совесть, для которой все эти ужасы были только мгновением, – ищет других путей и готовит проклятие на голову тех, кто сделал свое страшное дело.

Жертва уже принесена. А принята ли? – тому судьей будет сам народ.

14. В лесу

Кто-то выдал Сашку Жегулева.

Вечером он, Колесников и матрос были опять в гостях в Каменке, у своего знакомого, а на обратном пути попали под выстрелы стражников, притаившихся в засаде. Спасла их только темнота да лес. Но Колесников был смертельно ранен: пуля прошла под правой лопаткой и остановилась по другую сторону, под ребрами. Саша и матрос решили лучше самим погибнуть, но Василия не оставлять, и в темноте под слепыми пулями поволокли его, часто останавливаясь в изнеможении. Тяжел был Колесников, как мертвый, и Саша, державший его под мышки и чувствовавший на левой руке свинцовую, безвольно болтающуюся голову, перестал понимать, живого они несут или мертвого. Сомневался и Андрей Иваныч, но говорить некогда было.

В версте от дороги совсем остановились, и Андрей Иваныч сказал:

– Не могу больше! Положим.

Положили на землю тяжелое тело и замолчали, прислушиваясь назад, но ничего не могли понять сквозь шумное дыхание. Наконец услышали тишину и ощутили всем телом, не только глазами, глухую, подвальную темноту леса, в которой даже своей руки не видно было. С вечера ходили по небу дождевые тучи, и ни единая звездочка не указывала выси:

все одинаково черно и ровно.

– Как бы дождь не пошел, – сказал Саша, прислушиваясь.

– Лучше будет, следы закроет. Мне все лицо ветками исцарапало, чуть глаз не выколол. Беда, Александр Иванович!

– Беда. Как же мы теперь? Как вы думаете: он опасно?

Саша хотел сказать другое, но слишком страшно и больно было выговорить. И, думая то же, что и Саша, матрос сказал:

– Надо посмотреть.

– Молчит.

– Это ничего. Эх!

– Что вы?

– Фонарик потерял, должно, веткой с пояса сорвало. Такая темень! Попробую со спичкой... Василь Василич!

– Молчит. Вася!

– И не стонет! – вдруг испугался матрос. – Уж не помер ли, Господи помилуй!

Наконец отлегло от сердца: Колесников дышал, был без памяти, но жив; и крови вышло мало, а теперь и совсем не шла. И когда переворачивали его, застонал и что-то как будто промолвил, но слов не разобрали. Опять замолчал. И тут после короткой радости наступили отчаяние: куда идти в этой темноте?

– Ничего не понимаю! – говорит Саша, безнадежно ворочая головой, – я теперь и назад дороги не найду. Откуда мы пришли?

– Беда! До дому нам далеко, надо к леснику: до него вер-

сты четыре, а то и меньше.

– К леснику! А как его найти? – ничего не вижу; ничего не понимаю.

Оба замолчали в отчаянии и, не видя друг друга, безнадежно ворочали головами. Матрос сказал:

– А вы так попробуйте, Александр Иванович: ляжьте наземь и молчите, ничего про дорогу не думайте, она себя покажет.

Попробовал Саша и так и как будто нашел: в смутных образах движения явилось желание идти-и это желание и есть сама дорога. Нужно только не терять желания, держаться за него крепко.

Пошли. Набрав в легкие воздуха, подняли молчащее тяжелое тело и двинулись в том же порядке: Андрей Иванович, менее сильный, нес ноги и продирался сквозь чащу, Саша нес, задыхаясь, тяжелое, выскользящее туловище; и опять трепалась на левой руке безвольная и беспамятная, словно мертвая, голова. Уже через сотню саженей решили, что заблудились, и круто повернули вправо, потом влево; а потом перестали соображать и доискиваться и кружились без мыслей. Зашуршал по листьям редкий теплый дождь, и вместе с ним исчезла всякая надежда найти лесную сторожку: в молчаливом лесу они шли одни, и было в этом что-то похожее на дорогу и движение, а теперь в шорохе листвы двинулся весь лес, наполнился звуком шагов, суетою. И, казалось, что, уставая с каждым новым шагом до изнеможения, они не двигаются с места. Мутилось в голове. Несколько раз осмат-

ривали Колесникова, не умер ли, и, кроме страха и жалости, был в этом расчет: если умер, то можно не нести.

Сильнее накрапывал дождь. Все ждали, когда почувствуется под ногами дорога, но дорога словно пропала или находилась где-нибудь далеко, в стороне. Вместо дороги попали в неглубокий лесной овраг и тут совсем лишились сил, замучились до полусмерти – но все-таки выбрались. От дождя и от боли, когда втаскивали наверх, Колесников пришел в себя и застонал. Забормотал что-то.

– Вася, ты что?

– Са... са... Я са...

Насилу разобрали, что он сам хочет идти, и Андрей Иванович, чувствовавший неподвижность и полное бессилие его ног, заплакал тихонько, пользуясь скрывающей темнотою. А Колесников, оживая от дождя и боли, стал выворачиваться и мешать; и с тоскою сказал Саша:

– Вася, милый, лежи тихо, очень трудно, когда шевелишься.

Покорно обвис, но сознание, видимо, просветлялось. Глухо сказал:

– Брось.

– Знаешь, что не брошу, и лежи. Сейчас дойдем.

– Шапку.

Плакать или смеяться? Должно быть, и Колесников сквозь туман сознания и боль почувствовал смешное; и, чтобы увеличить его, пробормотал нечто, имевшее, как ему казалось,

ужасно смешной смысл:

– Того-этого...

И был уверен, что они смеются, а они не поняли: от усталости сознавали чуть ли не меньше, чем он сам. У Андрея Иваныча к тому же разболелась гниющая ранка на ноге, про которую сперва и позабыл-невыносимо становилось, лучше лечь и умереть. И не поверили даже, когда чуть не лбом стукнулись в сарайчик – каким-то чудом миновали дорогу и сзади, через отросток оврага, подошли к сторожке.

И только тут, в сторожке, когда обмытый и кое-как перевязанный Колесников уже лежал на лавке и не то дремал, не то снова впал в забытье – понял Жегулев ужасное значение происшедшего. Восстановилось нарушенное равновесие событий и то, что в первые полубезумные минуты казалось пуштыками: то, что их, несомненно, предали, то, что завтра же утром их могут застигнуть в сторожке, то, наконец, что Колесников умирает и умрет, – встало перед сознанием, окружило и сознание, и жизнь кольцом безысходности. Был тут один такой момент, когда Жегулев просто почувствовал себя мертвым, не живущим, как повешенный в тот короткий миг, когда табуретка уже выдернута из-под ног, а петля еще не стянула шеи, – настолько очевидно было видение замкнутого круга. Жизнь, потеряв надежду и смысл, отказывалась чувствовать себя жизнью.

«Этого не может быть, чтобы он умер. Хотя я всегда ожидал и знал, что это будет, но этого не может быть, чтобы он

умер. Если он умрет, это будет значить, что он и раньше не жил, и не жил и не живу я, и вообще ничего не существует, кроме очень длинного, непонятного, зачем оно, и легкого, как паутина, сна. А если это сон, то ничего не страшно, и, следовательно, он не умрет», – опоминаясь, подумал Саша: чтобы снова стать собою, жизнь утверждала чудо, как естественное, признавала бессмыслицу, как истину, логически законченную. И вместе с жизнью вернулись к юноше ее волнения, ее живые заботы и страх, и томление надежды, и безутешная скорбь. Боясь, что может услышать Колесников, Саша вызвал матроса в сенцы и шепотом спросил:

– Андрей Иваныч, кто нас выдал?

В шуме разошедшегося дождя не расслышал ответа и переспросил:

– Я говорю: нас выдали?

– Так точно, полагаю, что выдали.

– Кто?

Не увидел, но догадался, что матрос пожимает плечами.

Молча думали оба и, не найдя лица, молча вернулись в избу. Хозяин, один из Гнедых, равнодушный ко всему в мире, одинокий человек, раздумчиво почесывался со сна и вопросительно смотрел на Жегулева. Тот спросил:

– Ты что?

– Уйтить бы мне. Стражники не пришли бы.

– Боишься?

– Выходит, что боюсь. Уйтить бы мне, а?

Жегулев и матрос переглянулись: «выдаст!», но как-то все равно стало, пусть уходит. Может быть, и не выдаст.

– Ступай, только хлеба да воды оставь.

Ушел, равнодушный к темноте и дождю, к тому, кто умирает на его лавке, пожалуй, и к себе самому: скажи ему остаться, остался бы без спора и так же вяло укладывался бы спать на полу, как теперь покрывался от дождя рогожей. Нет, этот не выдаст. Но когда остались вдвоем и попробовали заснуть – Саша на лавке, матрос на полу – стало совсем плохо: шумел в дожде лес и в жуткой жизни своей казался подстерегающим, полным подкрадывающихся людей; похрипывал горлом на лавке Колесников, может быть, умирал уже – и совсем близко вспомнились выстрелы из темноты, с яркостью галлюцинации прозвучали в ушах. Матрос поднял голову.

– Что вы, Андрей Иванович? – шепотом, пугаясь, спросил Саша.

– Стреляют где-то.

Долго слушали оба: нет, показалось.

– Вот что, Андрей Иванович: вы спите, а я пойду караулить.

– Лучше я!

Оба встали: уже нельзя было без страха вспомнить, как это они чуть не заснули, не выставив караула. От страха начинало биться сердце. Матрос торопливо снаряжался и уже у двери шепнул:

– Огонь загасите!

От самой постели начиналась темнота, от самой постели

начинался страх и непонятное. Андрею Иванычу лучше наружи, он хоть что-нибудь да видит, а они как в клетке и вдвоем – вдвоем. Под углом сходятся обе лавки, на которых лежат, и становится невыносимо так близко чувствовать беспмятную голову и слышать короткое, частое, горячее и хриплое дыхание. Страшен беспмятный человек – что он думает, что видит он в своей отрешенности от яви?

Темно и мокро шумит лес, шепчется, шушукается, постукивает дробно по стеклу и по крыше. Почему-то представляются длинные, утопленнические волосы, с которых стекает вода, неведомые страшные лица шевелят толстыми губами... уж не бредит ли и он? Липы в саду шумели иначе: они гудели ровно и могуче, и седой Авраам встречал под дубом Господа, в зеленом тенистом шатре приветствовал Его. Праздничное солнце озаряло пустыню, и в белых ангельских одеждах светло улыбался Господь: и Ему приятно было, что тень, что холодна ключевая вода...

– Пить, – просит Колесников.

Напился, роняя капли с почерневших сухих губ, и снова хрипит, тускло бормочет: сколько ни слушать, слов не разберешь. Это они двое в темноте: те, что ходили весною стрелять из браунинга, а потом по шоссе, те, что спокойно сидели в спокойной комнате и разговаривали. Кто этот, называемый Колесников, Василий Васильевич, Вася? Где его близкие и кто они? – кого известить о его кончине? – кому пожаловаться о его смерти: такому, чтобы понял и почувство-

вал горе? Не может быть, чтобы так кончилось все: закопают его в лесу, и уйти навсегда из этого места, и больше никогда и нигде не будет никакого Колесникова, ни его слов, ни его голоса, ни его любви.

Темнота кажется необычной: положительно нельзя поверить, что и прежде, дома, Саша видел такой же мрак, мог видеть его в любую ночь, стоило погасить свечу, – этот теперешний угольный мрак, душный и смертельно тяжкий в своей непроницаемости, есть смерть. Боже мой! – что такое жизнь? Почему он, Саша, вместо того чтобы лежать в своей комнате на своей постели, находится здесь в какой-то сторожке, слушает хрип незнакомого умирающего человека, ждет других людей, которые придут сейчас и убьют его? Если он в своей комнате, то справа – протянуть руку – будет столик, спички и свеча... Пусто. Нет ни столика, ничего – пусто. Саша садится и, не в силах совладать со страхом, жжет одну за другою спички и старается смотреть в самый огонь, боится увидеть, что по сторонам. Приотворяется дверь, и матрос шепчет торопливо:

– Выйдите-ка, Александр Иваныч!

Дождь сильнее: так же шуршит и шепчет листва, но уже гудят низкие, туго натянутые басовые струны, а в деревянные ступени крыльца льет и плещет тяжело. Мгновениями в лесу словно светлеет... или обманывает напряженный глаз...

– Вслушайтесь-ка! – шепчет матрос.

Как будто идут... или обманывает слух? Погодин говорит

решительно:

– Никого. Идите, Андрей Иванович, в избу, я подежурю.

– Измучился я тут, – незнакомым, робким и доверчивым голосом отвечает матрос, – все чудится что-то. Должно гроза идет, погромыхивает будто.

– Скоро рассвет?

– Ой нет: часа еще три ждать. Так я пойду... в случае, стукните в дверь, я спать не буду. Как Василь Василич?

– Все так же. Плохо!

Тут действительно лучше: понятнее и проще все, приятен влажный воздух, пахнувший грозовым запахом и лесным гнильем. И все чаще безмолвные голубые вспышки, за которыми долго спустя весь шум леса покрывается ровным, объединяющим гулом: либо вдалеке проходит сильная гроза, либо подвигается сюда. Погодин закуривает папиросу и глубоко задумывается о тех, кто его предал.

Все ближе надвигается гроза.

15. Бред Колесникова

К утру Колесникову стало лучше. Он пришел в себя и даже попросил было есть, но не мог; все-таки выпил кружку теплого чая. От сильного жара лошадиные глаза его блестели, и лицо, покраснев, потеряло страшные землистые тени.

Открыли нижние половинки обеих окон: после отшумевшей на рассвете грозы воздух был чист и пахуч, светило солнце. И хотя именно теперь и могли напасть стражники – при солнечном свете не верилось ни в нападение, ни в смерть. Повеселели даже.

От жара у Колесникова путались мысли, и он не все понимал, всеми интересами отошел куда-то в сторону и приятно грезил. Он даже не спросил, где они находятся, и, видимо, не догадывался о засаде, как-то иначе, по-своему, представлял вчерашнее. Насколько можно было догадаться, ему казалось, что вчера произошло нападение на какую-то экономию, пожар, потом удачная и счастливая перестрелка со стражниками; теперь же он считал себя находящимся дома, в городской комнате, и почему-то полагал, что около него очень много народу. Так как говорил он при этом связно, глядел сознательно, то очень трудно было понять эти странные перемещения в мозгу и освоиться с ними. Несколько раз, начиная раздражаться, он спрашивал о каком-то сапожнике – насилу уразумел Саша, что речь идет о бывшем его хозяине. Вдруг

спросил:

– А Петруша не ранен?

Наклонившийся к нему Андрей Иваныч – говорил он тихо и слабо, запинаясь, – едва сумел не отшатнуться и ответил:

– Нет, Василь Василич, не ранен.

Что-то очень долго соображал Колесников, раздумчиво глядя прямо в близкие глаза матроса, и сказал:

– Надо ему балалайку подарить.

– Я... свою подарю.

– Ну? – обрадовался Колесников и с тихой насмешкой улыбнулся одними глазами: интеллигент!

К этой балалайке и все к одним и тем же вопросам, забывая, он возвращался целое утро и все повторял понравившееся: интеллигент; потом сразу забыл и балалайку и Петрушу, и начал хмуриться, в каком-то беспокойстве угрюмо косился на Погодина и избегал его взгляда. Наконец подозвал его к себе и заставил наклониться.

– Тебе больно, Вася?

– Да. Прогони тех, – указал на тех многочисленных, которые двигались, шумели, говорили громко до головной боли, создавали праздник, но очень утомительный и минутами страшный. – Прогони!

– Я их прогнал. Тебе дать воды?

– Нет. Наклонись. Отдай мои сапоги Андрею Иванычу.

– Хорошо.

Видимо, он помнил прежние сапоги, какими гордился, а

не теперешнюю рвань.

– Наклонись, Саша! Иди к матери, к Елене Петровне. Как ее зовут?

– Елена Петровна. Хорошо, я пойду.

– Пойди. Непременно.

– Да.

Колесников улыбнулся. Снова появились на лице землистые тени, кто-то тяжелый сидел на груди и душил за горло, – с трудом прорывалось хриплое дыхание, и толчками, неровно дергалась грудь. В черном озарении ужаса подходила смерть. Колесников заметался и застонал, и склонившийся Саша увидел в широко открытых глазах мольбу о помощи и страх, наивный, почти детский.

– Вася!

Но умирающий уже забыл о нем и молча метался. Думали, что началась агония, но, к удивлению, Колесников заснул и проснулся, хрипло и страшно дыша, только к закату. Зажгли жестяную лампочку, и в чернеющий лес протянулась по-осеннему полоса света. Вместе с людьми двигались и их тени, странно ломаясь по бревенчатым стенам и потолку, шевелясь и корча рожи. Колесников спросил:

– Ушли?

– Да, ушли.

– Пить!

Но немного выпил и, отказываясь, стиснул зубы; потом просил есть и опять пить и от всего отказывался. Волновал-

ся все сильнее и слабо перебирал пальцами, – ему же казалось, что он бежит, прыгает, вертится и падает, сильно размахивает руками. Бормотал еле слышно и непонятно, – а ему казалось, что он говорит громко и сильно, свободно спорит и смеется над ответами. Прислонился к горячей, печке спиной, приятно заложил нога за ногу и говорит, тихо и красиво поводя рукою:

– Теперь зима, и за окнами бегут сани, сани, сани...

Но подхватили сани и понесли по скользкому льду, и стало больно и нехорошо, раскатывает на поворотах, прыгает по ухабам – больно! – больно! – заблудились совсем и три дня не могут найти дороги; ложатся на живот лошади, карабкаясь на крутую и скользкую гору, сползают назад и опять карабкаются, трудно дышать, останавливается дыхание от натуги. Это и есть спор, нелепые возражения, от которых смешно и досадно. Прислонился спиной к горячей печке и говорит убедительно, тихо и красиво поводя легкою рукою:

– Если я умер, то это еще не доказательство.

Все смеются, и больше всех он сам. Саша наклонился и говорит:

– Тише! За нами гонятся. Бежим!

Все, задыхаясь, побежало, запрыгало, и все по лестницам, все вверх, через заборы и крыши. С крыши виден огонь, а внизу темнота, скользкие мокрые камни, каменные углы, и из водосточной трубы льет вода: надо скорее назад! Все шире разливается вода, и у берега покачивается белая лодка. А

на высоком берегу стоит село, и там сегодня Пасха, и в белой церкви звонит колокол, много колоколов, все колокола. Gladko, без единой морщинки, легла вода и не струится, не дышит; покойно и надолго светит солнце. Саша сел на корточки и пьет прямо горстью, смеется:

– Россия.

Елена Петровна, молодая и прекрасная, совсем не та, которая была по ошибке, гладит Сашину голову и смеется:

– Вы видите, какой он мальчик: пьет кровь и говорит, что это Россия.

Все замутилось кровью и дымом и в ужасе заметалось. Необходимо пить, иначе умрешь, а пить нельзя, все кровь: в стакане, водопроводе и во рту – кислая и пахнет красным вином. Саша наклонился и кричит:

– Нет, ты пей!

И нельзя отвести головы, тычет прямо в зубы, льет насильно и кричит:

– Пей, Вася!

Стихло. Прислонился спиной к горячей печке и говорит степенно, тихо и красиво поводя легкой рукою:

– Вы не так меня поняли, Елена Петровна, – и, подумав, добавляет: – Того-этого! Раз я отдаю сапоги Андрею Ивановичу, то, следовательно, он ходит, а я умираю. Я никогда ничего не имел, Елена Петровна, и вся моя душа, вся моя любовь, вся нежность моя...

Тут оба они плачут тихо и радостно, и Елена Петровна

говорит:

– Позвольте, я вас поцелую в лоб, как тогда.

– Пожалуйста, я буду очень рад.

Целует, и губы у нее нежные, молодые, прекрасные, – даже стыдно. Но стыдиться не надо, так как она его невеста и скоро будет свадьба, она и сейчас в белой фате и с цветами.

– Надо ехать, – говорит он торопливо и беспокойно, – мы можем опоздать.

– Но ведь это вы умираете, а не Саша?

– Саша здоровехонек!

Оба смеются, и дышится так легко и глубоко... даже совсем не дышится, не надо.

– Спой мне, мама. Я умираю.

Колесников скончался, не приходя в себя, около двух часов ночи. Саша и матрос, работая по очереди, в темноте выкопали глубокую яму, засыпали в ней мертвеца и ушли.

16. Пробуждение

Бывают такие полосы в жизни, когда от сильного горя и усталости либо от странности положения здоровый и умный человек как бы теряет сознание. Для всех окружающих, да и для себя, он все тот же: так же и ест, и пьет, и разговаривает, и делает свое дело, плачет или смеется, – ничего особенного и не заметишь: а внутри-то, в разуме и совести своей, он ничего не помнит, ничего не сознает, как бы совершенно отсутствует. Так бывает со многими вдовами, с женихами на свадьбе, с полководцами во время отступления; так же, пожалуй, бывает с плохими, останавливающимися часами, которые некоторое время надо подталкивать рукою, чтобы шли. Очень часто из этого опасного состояния возвращаются к жизни, даже не заметив его и не узнав, как не узнается опасность за спиною; но бывает, что и умирают, почти неслышно для себя переходят в последний мрак.

Как раз в таком состоянии был Жегулев после смерти Колесникова. Умер Колесников второго августа, и с этого дня почти целый месяц Саша жил и двигался в бездумной пустоте, во все стороны одинаково податливой и ровной, как море, покрытое первым гладким ледком. На вид он был даже оживленнее прежнего и деятельность проявлял неутомимую; жег, что показывали жечь, шел, куда звали, убивал, на кого намекали, – ветром двигался по уезду, словно и не слы-

ша жалоб измученной, усталой шайки. Но если кто-нибудь решительно заявлял, что надо передохнуть, Жегулев отдавал приказание об отдыхе, и дня три-четыре послушно отдыхал и сам. Андрей Иванович, матрос, почувствовавший смерть Колесникова, как смертельный удар всему ихнему делу, недоумевал и смущался, не зная, как понимать этого Жегулева; и то в радости и в вере приободрялся, а то начинал беспокоиться положительно до ужаса.

Пугало его то, что Жегулев совсем как будто не видел и не понимал перемен в окружающем; а перемены были так широки и ощутительны, что и не наблюдательный Андрей Иванович не мог не заметить их и не встревожиться. В чем дело, трудно было сказать, но словно переменялся сам воздух, которым дышит грудь.

Все еще много народу было в шайке, но с каждым днем кто-нибудь отпадал, не всегда заменяясь новым: только по прошествии времени ясно виделась убыль; и одни уходили к Соловью, другие же просто отваливались, расходились по домам, в город, Бог весть куда – были и нет. Те бесчисленные Гнедые, которые в свое счастливое время путали всякое соображение, каждодневно сокращались в числе, уже значились по пальцам наперечет, – в окружающем безразличии или даже вражде, как в холодной воде масло, резко очерчивались контуры шайки, ее истинный объем. Случаев прямой вражды было еще мало, но словно ослепла и оглохла деревня: никто не слышит, никто не видит, как ни кричи. При

редких встречах «бывшие» не отвертываются, но беседуют нехотя и нехотя подшучивают: «Вот вас скоро морозцем-то прихватит!» – а разумей эти слова так: «А к нам в тепло и не суйся, не зовем». И все чаще вместо привычного наименования «лесных братьев» бросают резкое и укорительное. разбойники. «Эй, матрос, долго еще разбойничать будете? Бабы жалуются, что собак по ночам тревожите».

Пока все это только шутки, но порой за ними уже видится злобно оскаленное мертвецкое лицо; и одному в деревню, пожалуй, лучше не показываться: пошел Жучок один, а его избили, придрались, будто он клеть взломать хотел. Насилу ушел коротким шагом бродяга. И лавочник, все тот же Идол Иваныч, шайке Соловья отпускает товар даже в кредит, чуть ли не по книжке, а Жегулеву каждый раз грозит доносом и, кажется, доносит.

– Не выдержу, один пойду, у Александра Иваныча не спрошусь, а уж распорю ему живот! – темнея от гнева, говорит Андрей Иваныч.

– Распори, матрос, распори! Я тебе подмогу, за ноги держать буду! – иронически поддакивает Еремей: он еще держится в шайке, но порою невыносим становится своей злобой ко всему иронией и грубыми плевками. Плюет направо и налево.

– Ну и скот же ты, Ерема! – горько упрекает его матрос, – для кого стараемся, а?

Еремей с трудом складывает в смешливую гримасу свое

дубовое лицо, подмигивает выразительно и хлопает его по колену.

– Андрюша! матросик! пинжачок ты мой хорошенький! А с кем ты намедни солому приминал, жмыхи выдавливал, а? Ну-ка, матрос, кайся!

Андрей Иваныч краснеет: по слабости человеческой он завел было чувствительный роман с солдаткой, со вдовой, но раз подсмотрели их и не дают проходу насмешками. Не знают, что со вдовой они больше плакали, чем целовались, – и отбили дорогу, ожесточение и горечь заронили в скромное, чистое, без ропота одинокое сердце. До того дошло с насмешками, что позвал его как-то к себе сам Жегулев и, стесняясь в словах, попросил не ходить на деревню.

– Так точно, я не хожу. Еще чего не прикажете?

– Я ничего не приказываю, Андрей Иваныч... Голубчик мой, вспомните Василь Васильича... да я сам...

Словно колокол церковный прозвучал в отдалении и стих. Опустил голову и матрос, слышит в тишине, как побаливает на ноге гниющая ранка, и беспокоится: не доходит ли тяжкий запах до Жегулева? И хочется ему не то чтобы умереть, а – не быть. Не быть.

И от осеннего ли похолодевшего воздуха и темных осенних ночей, от вражды ли мужичьей и насмешек грубых – начинают ему мерещиться волчьи острые морды.

Правда, появились уже и волки в окрестных лесах, изредка и воют тихонько, словно подучиваясь к зимнему насто-

ящему вою, изредка и скотинку потаскивают, но людей не трогают, – однако боится их матрос, как никогда ничего не боялся. Свой страх он скрывает от всех, но уже новыми глазами смотрит в темноту леса, боится его не только ночью, но и днем далеко отходить от стана не решается. И ночью, заслышав издали тихий неуверенный вой, холодеет он от смертельной тоски: что-то созвучное своей доле слышит он в одиноком, злом и скорбном голосе лесного, несчастного, всеми ненавидимого зверя. А утром, осторожно справившись о волках, удивляется, что никто этого воя и не слышал.

Все резче с каждым часом намечались зловещие перемены, но, как в мороке живущий, ничего не видел и не понимал Жегулев. Как море в отлив, отходил неслышно народ, оставляя на песке легкие отбросы да крохи своей жизни, и уже зияла кругом молчаливая пустота, – а он все еще слепо жил в отошедшем шуме и движении валов. До дна опустошенный, отдавший все, что призван был отдать, выпитый до капли, как бокал с драгоценнейшим вином, – прозрачно светлел он среди беспорядка пиршественного стола и все еще ждал жаждающих уст, когда уже к новым пирам и горько-радостным отравам разошлись и званые и незваные. С жестокостью того, кто бессмертен и не чтит маленьких жизней, которыми насыщается, с божественной справедливостью безликого покидал его народ и устремлялся к новым судьбам и новые призывал жертвы, – новые возжигал огни на невидимых алтарях своих.

Даже того как будто не замечал Жегулев, что подозрительно участились встречи и перестрелки со стражниками и солдатами, и всегда была в этих встречах неожиданность, намек на засаду. Действительно выдавал ли их кто, или естественно лишились они той незримой защиты, что давал народ, – но временами положение становилось угрожающим. Мало-помалу, сами того не замечая, перешли они из нападающих в бегущие и все еще не понимали, что это идет смертный конец, и все еще искали оправдания: осень идет, дороги трудны, войск прибавили, – но завтра будет по-старому, по-хорошему. Укрепляла еще в надеждах шайка Васьки Щеголя, по-прежнему многолюдная, разгульная и удачливая: не понимали, что от других корней питается кривое дерево, поганный сук, облепленный вороньем.

Но только мертвый не просыпается, а и заживо похороненному дается одна минуточка для сознания, – наступил час горького пробуждения и для Сашки Жегулева. Произошло это в первых числах сентября при разгроме одной усадьбы, на границе уезда, вддали от прежнего, уже покинутого становища, – уже с неделю, ограниченные числом, жили братья в потайном убежище за Желтухинским болотом.

Все шло по обычаю, только с большею против обычного торопливостью, гамом и даже междоусобными драками – озлобленно тащили, что попало, незнакомые незнакомой деревни мужики ругались и спорили. Вдруг неизвестно откуда пробежала страшная весть, что скачут стражники, – в па-

ническом бегстве, ломая телеги, валясь в канавы, оравой понесли назад. Напрасно кричал матрос, знавший доподлинно, что стражники далеко, грозил даже оружием: большинство разбежалось, в переполохе чуть не до смерти придавив слабосильного, но по-прежнему яростного и верного Федота. Не ушли только те, у кого не было телег, да были две бабы, у которых угнали лошадей, пока не цыкнул на них свирепый Еремей. Но все же осталось в разгромленной усадьбе человек до тридцати, и было среди них наполовину пьяного народа; а вскоре вернулся кое-кто с пустыми телегами, опомнились дорогой и постыдились возвращаться порожняком.

– Время, Александр Иваныч! – сказал матрос, глядя на свои часики.

И Жегулев привычно крикнул:

– Запаливай, ребята!

Но уже трудился Еремей, раздувая подтопку, на самый лоб вздергивая брови и круглясь красными от огня, надутыми щеками; и вскоре со всех концов запылала несчастная усадьба, и осветилась осенняя мглистая ночь, красными дымами поползли угрюмые тучи, верст на десять озаряя окрестность. В ту ночь был первый ранний заморозок, и всюду, куда пал иней, – на огорожу, на доску, забытую среди помертвевшей садовой травы, на крышу дальнего сарая – легкий розовый отсвет, словно сами светились припущенные снегом предметы. Галдели и ругались не успевшие нагнаться, опоздавшие мужики.

Уже уходили лесные братья, когда возле огромного хлебного скирда, подобно часовне возвышавшегося над притоптанным жнивьем, в теневой стороне его заметили несколько словно притаившихся мужиков, точно игравших со спичками. Вспыхнет и погаснет, не отойдя от коробки. Озабоченный голос Еремея говорил:

– Эх, куда сернички способней: тухнет, сволочь!

Саша в изумлении и гневe остановился:

– Андрей Иваныч, что это? Неужели хлеб хотят?

– Видно, что так. Не трогайте их, Александр Иваныч.

– Помутился разум человеческий, – сказал Жучок, прячаь на случай за матроса.

Слепень, кривой, глупо захохотал и сплюнул:

– Мужики!

Но захохотали и некоторые из мужиков, то ли конфузливо, то ли равнодушно отходя от скирда и смешиваясь с братьями; и только Еремей оглянулся на мгновение, словно ляскнул по-волчьи, и зажег новую спичку, наскоро бросив:

– Ставь-ка от ветру, Егорка.

Жегулев шагнул вперед и, коснувшись согнутой трудолюбиво спины, крикнул:

– Ты что делаешь, Еремей! Хлеб нельзя жечь, ты с ума спятил! Отдай другим, если самому... голодным! Тебе говорю!

Еремей не быстро оглянулся и коротко сказал:

– Не твой хлеб. Отойди!

Короток был и взгляд запавших голодных глаз, короток был и ответ, – но столько было в нем страшной правды, столько злобы, голода ненасытимого, тысячелетних слез, что молча отступил Саша Жегулев. И бессознательным движением прикрыл рукою глаза – страшно показалось видеть, как загорится хлеб. А там, либо не поняв, либо понимая слишком хорошо, смеялись громко.

Жарко затрещало, и свет проник между пальцами – загорелся огромный скирд; смолкли голоса, отодвигаясь – притихли. И в затишье человеческих голосов необыкновенный, поразительный в своей необычности плач вернул зрение Саше, как слепому от рождения. Сидел Еремей на земле, смотрел, не мигая, в красную гущу огня и плакал, повторяя все одни и те же слова:

– Хлебушко-батюшка!.. Хлебушко-батюшка!

Опустились головы и глаза – то ли в тяжком раздумье и своих слезах, то ли из желания не стыдить плачущего взглядами. Накалились соломинки и млели, как проволока светящаяся, плавилась золото хлебное и превращалось в тлен.

Покачивался Еремей и, как тогда Елена Петровна с губернатором, плакал в святой откровенности горя и повторял бесконечно:

– Хлебушко-батюшка!.. Хлебушко-батюшка!.. Хлебушко...

Всею душою вздохнул Саша и, подойдя к Еремею, нежно коснулся его рукою, нежно, как матери бы своей, сказал

вздохами:

– Еремеюшка... родной мой... Не плачь, Еремеюшка!

Точно не расслышал Еремей всех слов, но замолк, хлипнул носом и, обернувшись, с ядовитой улыбкой четко и раздельно сказал следующее:

– Подлизываешься, барин?.. Много денег нагребил, разбойник?.. Много христианских душ загубил, злодей непощеный?

...Так проснулся Саша. И ночью в своей холодной землянке, зверином нечистом логове лежал он, дрожа от холода, и думая кровавыми мыслями о непонятности страшной судьбы своей. Нужна ли была его жертва? Кому во благо отдал он всю чистоту свою, радости юношеских лет, жизнь матери, всю свою бессмертную душу? Неужели все это – драгоценное и единственное, что есть у человека – так никому и не нужно, так никому и не пригодилось? Брошено в яму вместе с мусором нечистым, сгубло втуне, обернулось волею Неведомого в бесплодное зло и бесцельные страдания! Нет и не будет ему прощения ни в нынешнем дне, ни в сонме веков грядущих. Кто может и смеет простить его за убийство, за пролитую кровь? Господи! И Ты не можешь простить, иначе не всех Ты любишь равно. Кто же?

– Мать?

Кто-то в темноте копошится в ногах, чем-то тяжелым и теплым прикрывает озябшее тело: кто это?

– Спите, Александр Иванович, спите, это я ноги вам при-

крыл, холодно. Спите!

– Спасибо, Андрюша. Спасибо. Спасибо, голубчик.

В первый раз с тех пор, как вышел из дому, – заплакал Сашка Жегулев.

17. Любовь и смерть

Великий покой – удел мертвых и неимеющих надежд. Великий и страшный покой ощутил в душе Погодин, когда отошли вместе с темнотою ночи первые бурные часы.

Хорошо или плохо то, что он сделал и чего не мог не сделать, нужно оно людям или нет – оно сделано, оно свершилось и стоит сзади него во всей грозной неприкосновенности совершившегося: не изменить в нем ни единой черточки, ни одного слова не выкинуть, ни одной мысли не изменить. Примет жизнь его жертву или с гневом отвергнет ее, как дар жестокий и ужасный; простит его Всезнающий или, осудив, подвергнет карам, силу которых знает только Он один; была ли добровольной жертва или, как агнец обреченный, чужой волею приведен он на заклание, – все сделано, все совершилось, все осталось позади, и ни единого ничьей силою не вынуть камня. А впереди – только смерть.

Это была безнадежность, и ее великий, покорный и страшный покой ощутил Саша Погодин. Ощутив же, признал себя свободным от всяких уз, как перед лицом неминуемой смерти свободен больной, когда ушли уже все доктора и убраны склянки с ненужными лекарствами, и заглушенный плач доносится из-за стены. С того самого дня, как было возвращено Жене Эгмонт нераспечатанным ее письмо и дан был неподозревавшей матери последний прощальный поце-

луй, Саша как бы закрыл душу для всех образов прошлого, монашески отрекся от любви и близких. «Если я буду любить и тосковать о любимых, то не всю душу принес я сюда и не чиста моя чистота», – думал Погодин с пугливой совестью аскета; и даже в самые горькие минуты, когда мучительно просило сердце любви и отдыха хотя бы краткого, крепко держал себя в добровольном плену мыслей – твердая воля была у юноши. Теперь же, когда вместе со смертью пришла свобода от уз, – с горькой и пламенной страстностью отдался он грезам, в самой безнадежности любви черпая для нее нужное и последнее оправдание. «Теперь я могу думать, о чем хочу», – строго решил он, глядя прямо в глаза своей совести, – и думал.

Как раз в эту пору, предвещая близкий конец, усилились преследования. Словно чья-то огромная лапа, не торопясь и даже поигрывая, ползала по уезду вдогонку за лесными братьями, шарила многими пальцами, неотвратимо проникала в глубину лесов, в темень оврагов, заброшенных клетей, нетопленых холодных бань. Куда только не прятались братья? – И отовсюду приходилось убегать; и снова прятаться, и снова бежать дальше. Все короче становились опасные переходы, и все на меньшем месте, незаметно сужая круг, кружилась шайка Жегулева, гонимая страхом, часто даже призрачным. Едва ли кто из них боялся смерти, скорее жаждали ее, но в самом обиходе прятанья и постоянного бегства было нечто устрашающее, ослаблявшее волю и мужество. Тре-

возможным стал слух, вообще склонный обманывать, и зрение обострилось болезненно, и сон сделался пуглив и чуток, как у зверя, и движения порывисты – круты повороты, внезапны остановки, коротки и бессловесны вскрики.

Осень была, в общем, погожая, а им казалось, что царит непрерывный холод и ненастье: при дожде, без огня, прели в сырости, утомлялись мокротою, дышали паром; не было дождя – от страха не разводили огня и осеннюю долгую ночь дрожали в ознобе. Днем еще согревало солнце, имевшее достаточно тепла, и те, кто мирно проезжал по дорогам, думали: какая теплынь, совсем лето! – а с вечера начиналось мучение, не известное ни тем, кто, проехав сколько надо, добрался до теплого жилья, ни зверю, защищенному природой. Скучно кормились, и не будь неизменно и загадочно верно-го, кашляющего Федота, – пожалуй, и умерли бы с голода или начали, как волки, потаскивать мужицкую скотину.

К ощущениям холода, пустоты и постоянного ровного страха свелась жизнь шайки, и с каждым днем таяла она в огне страданий: кто бежал к богатому и сильному, знающемуся с полицией Соловью, кто уходил в деревню, в город, неизвестно куда. И Сашка Жегулев, все еще оставаясь знаменем и волею шайки, внешне связанный с нею узами верности и братства, дрожа ее холодом и страхом, – внутренне так далеко отошел от нее, как в ту пору, когда сидел он в тихой гимназической комнатке своей. И чем несноснее становились страдания тела, чем изнеможеннее страдальческий

вид, способный потрясти до слез и нечувствительного человека, тем жарче пламенел огонь мечтаний безнадежных, бесплотных грез: светился в огромных очах, согревал прозрачную бледность лица и всей его юношеской фигуре давал ту нежность и мягкую воздушность, какой художники наделяют своих мучеников и святых.

Старательно и добросовестно вслушиваясь, весьма плохо слышал он голоса окружающего мира и с радостью понимал только одно: конец приближается, смерть идет большими и звонкими шагами, весь золотистый лес осени звенит ее призывными голосами. Радовался же Сашка Жегулев потому, что имел свой план, некую блаженную мечту, скудную, как сама безнадежность, радостную, как сон: в тот день, когда не останется сомнений в близости смерти и у самого уха прозвучит ее зов – пойти в город и проститься со своими.

В те долгие ночи, когда все дрожали в мучительном ознобе, он подробно и строго обдумывал план: конечно, ни в дом он не войдет, ни на глаза он не покажется, но, подкравшись к самым окнам, в темноте осеннего вечера, увидит мать и Линочку и будет смотреть на них до тех пор, пока не лягут спать и не потушат огонь. Очень возможно, что в тот вечер будет у них в гостях и Женя Эгмонт... но здесь думать становилось страшно. Страшно было и то, что занавески на окнах могут быть опущены... но неужели не догадается мать, не почувствует за окнами его сыновних глаз, не услышит биения его сердца? Оно и сейчас так бьется, что слышно, кажется, по ту

сторону земли!

Поймет. Догадается. Откроет!

Тихо и красиво умирает лес. То, что вчера еще было зеленым, сегодня от края золотится, желтеет все прозрачнее и легче; то, что было золотым вчера, сегодня густо багровеет, все так же как будто много листьев, но уже шуршит под ногою, и лесные дали прозрачно видятся; и громко стучит дятел, далеко, за версту слышен его рабочий дробный постук. Вокруг милые и печальные люди смотрят на него с тоскою и жаждой: но чем их напоить? Отдал бы, пожалуй, и мечту свою, ко не нужна им чужая, далекая, даже обидная мечта. Даже стыдно временами: какой он богач. Смутно проходит перед глазами побледневшее лицо матроса, словно издали слышится его спокойный, ласково-покорный голос.

– У вас жива мать, Андрей Иваныч?

– Не могу знать.

Станный и словно укоризненный ответ, но дольше спрашивать нельзя... или можно, но не хочется?

– Плохи наши дела, Андрей Иваныч.

– Так точно, Александр Иавыч, плохи. Одежи теплой нет, вот главное.

– Да, одежды нет. А что же Федот обещал полушубков достать?

– Да не дают мужики, говорят, какие были, все Соловьев забрал. Врут.

– Надо достать.

– Да надо уж.

Молчат и думают свое, и Саша убежден, что матрос думает о полушубках, как их достать.

– Что это вы последнее время хромаете, Андрей Иваныч? Ушиблись?

Матрос как будто конфузится и отвечает виновато:

– Разве хромаю? Не замечаю что-то, показалось, верно.

– Да нет же, заметно.

– А может быть, и ушибся, да ничего не почувствовал... надо будет ногу посмотреть. Ничего не прикажете, Александр Иваныч?

И в тот день матрос действительно не хромал, очевидно, ошибся Погодин. Многие замечалось одними глазами, и во многом ошибались глаза, и слабой болью отвечало на чужую боль в мечте живущее сердце. Все дальше уходила жизнь, и открывался молодой душе чудесный мир любви, божественно-чистой и прекрасной, какой не знают живые в надеждах люди. Как ненужная, отпадала грубость и суета житейских отношений, томительность пустых и усталых дней, досадная и злая сытость тела, когда по-прежнему голодна душа – очищенная безнадежностью, обретала любовь те свои таинственнейшие пути, где святостью и бессмертием становится она. Почти не имела образа Женя Эгмонт: никогда в грезах непрестанных не видел ее лица, ни улыбки, ни даже глаз; разве только услышит шелест платья, мелькнет на мгновенье узкая рука, что-то теплое и душистое пройдет мимо в сла-

бом озарении света и тепла, коснется еле слышно... Но, не видя образа, сквозь тленные его черты прозревал он великое и таинственное, что есть настоящая бессмертная Женя, ее любовь и вечная красота, в мире бестелесном обручался с нею, как с невестою, – и сама вечность в ее заколдованном круге была тяжким кольцом обручения.

Но странно: не имела образа и мать, не имела живого образа и Линочка – всю знает, всю чувствует, всю держит в сердце, а увидеть ничего не может... зачем большое менять на маленькое, что имеют все? Так в тихом шелесте платьев, почему-то черных и шелестящих, жили призрачной и бессмертной жизнью три женщины, касались еле слышно, проходили мимо в озарении света и душистого тепла, любили, прощали, жалели – три женщины: мать – сестра – невеста.

Но вот уже и над ухом прозвучал призывный голос смерти: ушел из шайки на свободу Андрей Иванов, матрос.

С вечера он был где-то тут же и, как всегда, делал какое-то свое дело; оставалось их теперь всего четверо помимо Жегулева – матрос, Кузьма Жучок, Федот; и невыносимо глупый и скучный, одноглазый Слепень. Потом развел костер матрос – уже и бояться перестали! – и шутливо сказал Саше:

– Теперь в лесу волки, а огня они боятся.

– В этих местах волков нет, – поправил Федот, – я знаю.

– Ты свое знаешь, а мы свое знаем: хворосту жалко?

– Жги, мне-то что. Теплей спать будет. Ложился бы и ты с нами, Александр Иванов, а то сыро в землянке, захвораешь.

Но Саша лег в землянке: мешали люди тихой мечте, а в землянке было немо и одиноко, как в гробу. Спал крепко – вместе с безнадежностью пришел и крепкий сон, ярко продолжавший дневную мечту; и ничего не слышал, а утром спохватились – Андрея Иваныча нет. На месте и балалайка его с раскрашенной декой, и платяная щеточка, и все его маленькое имущество, а самого нет.

Долго не знали, что думать и что предпринять, тем более, что и артельные деньги, оставшиеся пустяки, Андрей Иваныч унес с собой, как и маузер. Терялись в беспокойных догадках. Глупый Слепень захмыкал и ляпнул:

– К Соловью убег.

– Ну и дурак! – сказал Федот и нерешительно высказал догадку: – Не объявляться ли пошел?

И странно было, что Саша также ничего не мог придумать: точно совсем не знал человека и того, на что он способен – одно только ясно: к Соловью уйти не мог. Выждали до полудня, а потом, томясь бездеятельностью, отправились на поиски, бестолково бродили вокруг стана и выкрикали:

– Андрюша! Матрос!

Саша безнадежно бродил среди деревьев, смотря вниз, точно грибы искал; и по завету матроса о мертвом теле, которое всегда обнаружится, нашел-таки Андрея Иваныча. Боясь ли волков, или желание убить себя пришло внезапно и неотвратимо и не позволило далеко уйти – матрос застрелился в десятке сажений от костра: странно, как не слышали

выстрела. Лежал он на спине, ногами к открытому месту, голову слегка запрятав в кусты: будто, желая покрепче уснуть, прятался от солнца; отвел Саша ветку с поредевшим желтым листом и увидел, что матрос смотрит остекленело, а рот черен и залит кровью; тут же и браунинг – почему-то предпочел браунинг. И еще заметил Саша, что на щеке возле уха и в тех местах подбородка, которых не залила кровь, проступила щетинка бороды: никогда не видел на живом.

– Так-то, Андрей Иванович! Ловко! – сказал Жегулев, по звуку голоса совсем спокойно, и опустил ветку: качаясь, смахнула она мертвый лист на плечо матроса.

Откуда-то подошли те трое и из-за спины смотрели.

– Надо портмонет достать, – сказал Федот и укоризненно обратился к Слепню: – А ты говоришь – к Соловью! К этому Соловью и ты скоро пойдешь.

– Ты-то раньше пойдешь, у тебя из горла кровь идет.

– Ну и дурак! – удивился Жучок и сплюнул.

– Ничего он не понимает. Помоги, Жучок!

Пока ворочали и обыскивали мертвеца, Жегулев находился тут же, удивляясь, что не чувствует ни особенной жалости, ни тоски: немного страшно и донельзя убедительно, но неожиданного и необыкновенного ничего – так и нужно. Главное же, что завтра он пойдет в город.

Но что-то досадное шевелилось в мыслях и не давалось сознанию – иное, чем жалость, иное, чем собственная смерть, иное, чем та страшная ночь в лесу, когда умер Колес-

ников... Но что? И только увидев матросов вывернутый карман, прежде чужой и скрытый, а теперь ничей, этот странный маленький мешочек, свисший у бока, – вдруг понял, чего не понимал: он, Жегулев, совершенно не знает этого мертвого человека, словно только сегодня он приехал в этом своем неразгаданно-мертвецком виде, с открытыми глазами и черным ртом. Потом, припоминая дальше, вдруг слабо ужаснулся, горько усмехнулся над человеческой слепотою своей: ведь он и совсем не знает Андрея Иваныча, матроса, никогда и не видал его! Было возле что-то услужливое, благородное, деликатное, говорило какие-то слова, которые все позабыты, укрывало, когда холодно, поддерживало под руку, когда слабо, – а теперь взяло и застрелилось, самостоятельно, ни с кем не посоветовавшись, без слов ушло из жизни. Старается Жегулев вспомнить прежнее его живое лицо – и не может; даже то, что он брился аккуратно, вспоминается формально, недоверчиво: точно и всегда была теперешняя неаккуратная щетинка. И все горше становится сознанию: оказывается, он даже фамилии его не знает, никогда ни о чем не спрашивал – был твердо убежден, что знает все! А знает только то, что видит сейчас: мало.

Уже зарыли мертвеца, когда удалось Жегулеву вызвать из памяти нечто до боли и слез живое: лицо и взгляд Андрея Иваныча, когда играл он плясовую, тайно улыбающийся и степенный, как жених на смотринах. И вспомнилась тогдашняя весенняя луна с ее надземным покоем, ровный шум ру-

чья, бегущего к далекому морю, готовый к пляске Колесников в его тогдашней дикой и сумасшедшей красоте. Потом разговор в шалашике, когда голоса звучали так близко и в маленькую щель покрышки блестел серебряный, ослепительно яркий диск. Умер Петруша. Умер Колесников, а сейчас зарыт и матрос.

– Помнишь рябинушку, Федот?.. – спросил Саша, умиленно улыбаясь; и с такой же умиленной улыбкой на своих синих тонких губах, тесно облипавших желтые большие зубы, ответил Федот:

– Как же, Александр Иваныч, помню.

«Ну и страшно же на свете жить!» – думает Кузьма Жучок, глядя в беспросветно-темные, огромные, страдальческие глаза Жегулева и не в силах, по скромному уму своему, связать с ним воедино улыбку бледных уст. Забеспокоился и одноглазый Слепень, но, не умея словами даже близко подойти к своему чувству, сказал угрюмо:

– А балалайку матросову я себе возьму.

– Вот-то дурак! – удивился Федот и перестал улыбаться.

Поговорив с Федотом о возможностях, Жегулев решил на следующий же день идти в город и проститься: дальше не хочет ждать смерть и требует поспешности.

18. Прощание

Одетый в валяный, мужицкого сукна, коричневый армяк, Жегулев с утра прятался на базаре, а базар шумел торговой жизнью, пил, ругался, шатался по трактирам и укрывал приспособившегося. Как соломинка среди соломинок, втоптаных в грязь площади конями, колесами и тяжелыми мужицкими сапогами, терялся Саша в однотонно галдящем, коричневом царстве, никому не нужный и никому не ведомый. Поставив около возов с соломой, имея вид что-то продающего, помогал вводить чужих коней на весовой помост для сена и всячески старался приобрести невидимость, а больше просиживал в трактирах, где пьяный шум и сутолока вскоре отбивали слух и память у всякого входящего. Больше всего боялся он встречи с каменецкими мужиками и на одного наткнулся-таки, но тот поглядел равнодушно и, не признав, пошел дальше: меняла Жегулева и одежда его, и смолянистая отросшая борода. И ни в ком не возбуждал подозрений молодой высокий мужик, и разве только удивляла и трогала худоба и бледность его; но и тут для любопытных и слишком разговорчивых было оправдание: только что выписался из больницы и ждет земляка, вместе поедут.

Был короток и звонко шумлив осенний базарный день, но для Жегулева тянулся он долго и плоско, порою казался немым и безгласным: точно со всею суетою и шумом своим

базарные были нарисованы на полотне, густо намазаны краской и криком, а позади полотна – тишина и безгласие.

Скоро и солнце запало за крыши и только с минутку еще блестело в окнах высокого, в три этажа, трактира; и караваном телег потянулись в сумерки поля мужики-однодеревенцы, снимаясь гнездами, как грачи. В рядах, под сводами каменной галерейки, зазвенели железные болты на дверях и окнах, и всякий огонь окна становился теплее и ярче по мере того, как сгущался на глазах быстрый и суровый сумрак; как ряды пассажирских вагонов, поставленных один на другой, светился огнями высокий трактир, и в открытое окно разорванно и непонятно, но зазывающе бубнил и вызвякивал орган. Пустела площадь, и уже неловко становилось бродить в одиночку среди покинутых, задраенных досками ларей, – сам себя чувствовал Жегулев похожим на вора и подозрительного человека.

И все острее становилась тревога; и пяти минут невозможно было просидеть на месте, только и отдыхала немного мысль, как двигались ноги хотя бы в сторону противоположную. Набегали невыносимо-страшные мысли и предположения, для далекого путешественника отравляющие приближение к дому: мало ли что могло случиться за эти четыре месяца?.. До сих пор Жегулеву как-то совсем не приходило в голову, что мать могла умереть от потрясения и горя, и даже без всякого потрясения, просто от какой-нибудь болезни, несчастного случая. В детстве даже часы, когда отсутствова-

ла мать, тревожили сердце и воображение населяли призраками возможных бед и несчастий, а теперь прошло целых четыре месяца, долгий и опасный срок для непрочной человеческой жизни.

Зажав в кулак золотые часы, наследство от отца-генерала, Погодин под фонарем разглядывает стрелки: всего только семь часов, и стрелки неподвижны, даже маленькая секундная словно стоит на месте – заведены ли? Забыл, что уже два раза заводил, и пробует сдвинуть окаменевший завод, пока догадывается, что с ним. Один только раз, не желая подходить к фонарю, нажал пружину, и старинные дорогие с репетицией часы послушно зазвонили в ухо, – но так громок в безлюдье площади показался их певучий, робкий звон, что поскорее сунул в карман и крепче, словно душа, зажал кулак.

Можно бы и сейчас идти, но держит принятое решение и парализует волю: возле окон своих решил быть ровно в девять, когда пьют чай в столовой – единственный час, в который может оказаться с ними и Женя Эгмонт.

Наконец возмущился против себя и своего решения Жегулев:

– Да что я: с ума хочу сойти? Почему в девять, а не сейчас? Там подожду.

И круто, на полшага повернув, проплыл как бы по воздуху пустынную площадь и окунулся в темноту тихой, немощной улицы, еле намечаемой в перспективе несколькими тусклыми фонарями. Далеко на середине знакомо светлело:

там угол, где сворачивать на их улицу, и на углу, светя на обе улицы, помещается Самсонычева лавка. И при первых же шагах, прямо ведущих к цели, стихла тревога, и явилась спокойная уверенность, что мать жива и увидит ее, и не захотелось торопиться, а идти медленно и вдумчиво, капля за каплей пить драгоценнейший напиток.

Какая радость: идти по знакомым и родным местам, где каждый столбик и канавка и каждая доска забора исписана воспоминаниями, как книга, и все хранит ненарушимо, и все помнит, и обо всем может рассказать! Пусть для других невидимы следы его детских ног, но Саша их чувствует под своей подошвой, нежно прижимает их к земле и новый, теперешний свой ставит след. Идет Саша по-хоженому, тихо присматриваясь и прислушиваясь, – стал он тем сложным существом, в котором исчезли призрачные границы времени и противное мигание настоящего сменилось ровным, негаснущим светом безвременности.

Вот и Самсонычева лавка: в обе стороны прорезала осеннюю тьму и стоит тихонько в ожидании редкого вечернего покупателя, – если войти теперь, то услышишь всегдашний запах постного масла, хлеба, простого мыла, керосина и того особенного, что есть сам Самсоныч и во всем мире может быть услышано только здесь, не повторяется нигде. Дальше!.. Вдруг идет за хлебом ихняя горничная и встретит и узнает!..

Уже с противоположной стороны оглядывается на лавку

Саша и прощается с Самсонычем; потом снова в темноте перебирается на эту сторону улицы: всю жизнь ходил по ней и другую сторону с детства считает чужой, неведомой, чем-то вроде иностранного государства.

Потом снова идет на чужую сторону, – подошел ихний забор, придавленный гущиною высокого и черного сада, и ихняя калитка: опасно, можно встретить кого-нибудь из своих. И долго смотрит Саша на калитку, тысячекратно отворенную его рукой, и ждет не дыша: вдруг откроется!

Обойдя кругом, переулками, Саша добрался до того места в заборе, откуда в детстве он смотрел на дорогу с двумя колеями, а потом перелезал к ожидавшим Колесникову и Петруше. Умерли и Колесников, и Петруша, а забор стоит все так же – не его это дело, человеческая жизнь! Тогда лез человек сюда, а теперь лезет обратно и эту сторону царапает носками, ища опоры, – не его это дело, смутная и страшная человеческая жизнь!

В недостроенном, без крыши каменном флигельке, когда-то пугавшем детей своими пустыми глазницами, Жегулев с полчаса отдыхал, – не мог тронуться с места от волнения. То всколыхнуло сердце до удушья, что увидел между толстыми стволами свои окна – и свет в окнах, значит, дома, и резок острый свет: значит, не спущены занавески и можно смотреть. Так все близко, что невозможно подняться и сделать шаг: поднимается, а колена дрожат и подгибаются – сиди снова и жди!

– Ну! – улыбаясь, шепчет Саша и гладит колена. – Ну!

Собрался наконец с силами и, перестав улыбаться, решительно подошел к тем окнам, что выходят из столовой: слава Богу! Стол, накрытый скатертью, чайная посуда, хотя пока никого и нет, может быть, еще не пили, еще только собираются пить чай. С трудом разбирается глаз от волнения, но что-то странное смущает его, какие-то пустяки: то ли поваленный стакан, и что-то грязное, неряшливое, необычное для ихнего стола, то ли незнакомый узор скатерти...

Что-то здесь есть! Что-то странное здесь есть!

И вдруг, непонятный в первую минуту до равнодушия, вступает в поле зрения и медленно проходит через комнату, никуда не глядя, незнакомый старик, бритый, грязный, в турецком с большими цветами халате. В оттянутых книзу губах его потухшая папироса в толстом и коротком мундштуке, и идет он медленно, никуда не глядя, и на халате его огромные с завитушками узоры.

Уже догадываясь, но все еще не веря, Жегулев бросается за угол к тому окну, что из его комнаты, – и здесь все чужое, может быть, по-своему, и хорошее, но ужасное тем, что заняло оно родное место и стоит, ничего об этом не зная. И понимает Жегулев, что их здесь нет, ни матери, ни Линочки, и нет уже давно, и где они – неизвестно.

Три часа сидел Саша в каменном, недостроенном флигельке.

Не его это дело, человеческая жизнь: лез человек сюда, а

теперь лезет обратно и уходит в темноту: навсегда.

Но что за странный характер у юноши! Там, где раздавило бы всякого безмерное горе, согнуло бы спину и голоду пригнуло к земле, – там открылся для него источник как бы новой силы и новой гордости. Правда, на лицо его лучше не глядеть и сердца его лучше не касаться, но поступь его тверда, и гордо держится на плечах полумертвая голова.

Так и не простившись, обманутый, идет он по дороге к смерти и думает:

«Вот и кончилось все: как просто и как необходимо! Да, соблазнился я, помутился ум, я и думал: побуду еще прежним Сашей, отдохну в прежнем перед смертью, – а кровь не пускает. Это она стала стеною и не пускает: конечно, они все там, и мать, и Женя, и все их видят, а я нет – стала стеною кровь и застит. И должен я остаться Сашкой Жегулевым, Александром Ивановичем: не Николай у меня отец, а какой-то Иван, и матери нет совсем – я Сашка Жегулев, Александр Иванович. Что ж! – я принимаю: аминь! Помутился ум, унизился я и попросил милостыни, а мне и не дали милостыни: иди, Жегулев, откуда пришел. Вот я и иду, Жегулев, откуда пришел: аминь и во веки веков. И уж не хочу я быть Сашей, я уж не прошу я милостыни ни у кого: буду идти как иду, хотя бы на миллионы и биллионы веков протянулся мой путь: сказано идти без отдыху Сашке Жегулеву».

Легко идетя по земле тому, кто полной мерой платит за содеянное. Вот уже и шоссе, по которому когда-то так лег-

ко шагал какой-то Саша Погодин, – чуть ли не с улыбкой попирает его незримые отроческие следы крепко шагающий Сашка Жегулев, и в темной дали упоенно и радостно прозревает светящийся знак смерти. Идет в темноту, легкий и быстрый: лица его лучше не видеть и сердца его лучше не касаться, но тверда молодая поступь, и гордо держится на плечах полумертвая голова.

С пригорка, обернувшись, видит Жегулев то вечное зарево, которое по ночам уже стоит над всеми городами земли. Он останавливается и долго смотрит: внимательно и строго. И с тою серьезностью и простотою в обряде, которой научился у простых людей, Жегулев становится на колена и земно кланяется далекому.

19. Смерть Жегулёва

Завтра поплывут по небу синие холодные тучи, и между ними и землею станет так темно, как в сумерки; завтра придет с севера жестокий ветер и разметет лист с деревьев, окаменит землю, обесцветит ее, как серую глину, все краски выжмет и убьет холодом. Согнувшись зябко, подставят ветру спину, и к югу обернут помертвелое лицо свое и человек, и ломкие стебли засохших трав, и вершины деревьев, и мертвые в лугах поблекшие цветы. Согнется в линию бега все, что может согнуться, и затреплются по ветру конские гривы, концы одежд, разорванные на ключья столбики обесцвеченного дыма из низеньких и закоптелых труб. Уныло и длительно заскрипят стволы и ветви деревьев, и на открытой опушке тоскливо зашуршит сгорающий, свернувшийся дубовый лист – до новой весны всю долгую зиму он будет цепляться за ненужную жизнь, крепиться безнадежно и не падать. Закружатся в темной высоте гонимые ветром редкие хлопья снега и все мимо будут лететь, не опускаясь на землю, – а уже забелели каменные следы колес, и в каждой ямочке, за каждым бугорком и столбиком собираются сухие, легкие как пух снежинки.

Но сегодня в высоком лесу, как в храме среди золотых иконостасов и бесчисленных престолов, – тихо, бестрепетно и величаво. Колонками высятся старые стволы, и сам из себя светится прозрачный лист: на топкое зеленое стекло лампа-

док похожи нижние листья лапчатого резного клена, а верх весь в жидком золоте и багреце. Стекает золото на землю, и у подножья больших деревьев круглится лучистый нимб, а маленькие деревца и кустики, как дети лесные, уж отряхнулись наполовину от тяжелого золота и подтягивают тоненько. Как под высокими гулкими сводами звонок шаг идущего, а голос свеж и крепок; отрывист и четок каждый стук, случайный лязг железа, певучий посвист то ли человека, то ли запоздалой птицы – и чудится, будто полон прозрачный воздух реющих на крыльях, лишь до времени притаившихся звуков.

И те вооруженные, что подкрадываются к убежищу Сашки Жегулева, отбивают дружный шаг на крепкой дороге, вразбродку подползают по оврагу, гнут спины на тропинках – себе самим кажутся слишком шумными и тяжелыми. Словно оттягивает руки смерть, которую несут к обреченному, вот-вот уронишь, и нашумит, побежит шорохами и лязгами, оброненная, и спугнет. Тише, тише! А лес бестрепетен и величав, и вся в бесчисленных и скромных огоньках стоит береза, матерински-темная, потрескавшаяся внизу, свечисто-белая к верхам своим, в сплетенье кружевном ветвей и тонких веточек.

Не поскупилась смерть на убранство для Сашки Жегулева.

Весь день и всю ночь до рассвета вспыхивала землянка огнями выстрелов, трещала, как сырой хворост на огне. Стреляли из землянки и залпами и в одиночку, на страшный вы-

бор: уже много было убитых и раненых, и сам пристав, командовавший отрядом, получил легкую рану в плечо. Залпами и в одиночку стреляли и в землянку, и все казалось, что промахиваются, и нельзя было понять, сколько там людей. Потом, на рассвете, сразу все смолкло в землянке и долго молчало, не отвечая ни на выстрелы, ни на предложение сдаться.

– Хитрят! – говорил пристав, бледный от потери крови, от боли в ране, от бессонной и мучительной ночи.

Высокий, костлявый, с большой, но неровной по краям черной бородою, был он похож на Колесникова и, несмотря на револьвер в руке и на полувоенную форму, вид имел мирный и расстроенный.

– Пожалуй, что и хитрят! – отвечал молодой, но водянисто-толстый и равнодушный подпоручик в летнем, несмотря на прохладу, кителе: жалко было портить более дорогое сукно.

– Как же тогда быть? – недоумевал пристав, морщась от боли. – Еще пострелять?.. Видно, уж так. Постреляйте еще, голубчик!

– Павленков отошел, ваше благородие, – доложил солдат.

– Ах, негодяи! – возмутился пристав. – Жарьте их в хвост и гриву... негодяи!

Постреляли и еще, пока не стало совсем убедительным ровное молчание; вошли наконец в страшную землянку и нашли четверых убитых: остальные, видимо, успели скрыться

в ночной темноте. Один из четверых, худой, рыжеватый мужик с тонкими губами, еще дышал, похрипывал, точно во сне, но тут же и отошел.

– Говорил, убегут, вот и убежали! Надо же было целую ночь... Эх! – страдальчески горячился пристав, наступая на толстого, равнодушно разводящего руками офицера. – Выволоките их сюда!

Трупы выволокли и разложили в ряд на месте от давнишнего костра. Пристав, наклонившись и придерживая здоровой рукой большую, близоруко осмотрел убитых и, хоть уже достаточно светло было, ничего не мог понять.

– Ну, конечно, – бормотал он, – ну, конечно, Жегулева-то и нет! Благодарю, значит, покорно: опять бегай по уезду и ищи. Эх!

– А этот не подойдет? – спросил офицер и слегка ткнул ногой один из трупов.

– Вы полагаете? – усомнился пристав. – Посмотрим, посмотрим!

В обезображенном лице, с выбитыми пулей передними зубами и разорванной щекой, трудно было признать Жегулева; но было что-то городское, чистоплотное в одежде и тонких, хотя и черных, но сохранившихся руках, выделявшее его из немой компании других мертвецов, – да и просто был он значительнее других.

– Если не убежал, то, пожалуй, и этот, – соображал пристав, переходя от надежды к сомнению.

Из разорванной щеки белели уцелевшие зубы, словно улыбался насмешливо убитый, – и вдруг вспылил мирный пристав.

– Смеешься, подлец? Посмейся, посмейся! – Но было бесцельно грозить мертвому, и, обернувшись, пристав закричал: – Егорку сюда! Где Егорка? Спрятался, сукин сын!

Пришел действительно прятавшийся Егорка и стал боком, стараясь не глядеть на трупы.

– Ты куда спрятался, а? Как до тебя дело, так ты в кусты?

– Покойников я боюсь.

– Покойников боишься, а разбойничать не боишься?! Я-т тебя!.. Признавай, подлец, Жегулева.

Егорка наскоро, точно купаясь в холодной воде, обежал глазами убитых и ткнул пальцем на Жегулева:

– Этот самый.

– Врешь, подлец!

– То не врал, а то врать стану: говорю, этот!

– Обыскать!

Обыскали мертвого, но ничего свидетельствующего о личности не нашли: кожаный потертый портсигар с одной сломанной папиросой, старую, порванную на сгибах карту уезда и кусок бинта для перевязки – может быть, и Жегулев, а может, и не он. В десятке шагов от землянки набрали на золотые, старые с репетицией часы, но выбросил ли их этот или, убегая, обронил другой, более настоящий Сашка Жегулев, решить не могли.

Потом пристав, совсем ослабевший, уехал на перевязку; ушла и рота, захватив своих убитых и раненых, а разбойников на самодельных носилках, а кое-где и волоком, доставили стражники в Каменку для опознания. Прибыл туда другой пристав, здоровый, молодой, сильно надушенный скверными духами, наехало большое и маленькое начальство, набрались любопытные – народу собралось, как на базаре, и сразу вытоптали траву около убитых. По предложению пристава, во всем любившего картинность, убитых стоймя привязали к вбитым в землю четырем колам и придали им боевую позу: каждому в опущенную руку насильственно и с трудом вложили револьвер, предварительно разрядив его.

И издали действительно было похоже на живых и страшных разбойников, глубоко задумавшихся над чем-то своим, разбойничьим, или рассматривавших вытоптанную траву, или собирающихся плясать: колена все время сгибались под тяжестью тела, как ни старались их выпрямить. Но вблизи страшно и невыносимо было смотреть, и уже никого не могли обмануть мертвецы притворной жизнью: бессильно, по-мертвому, клонились вялые, точно похудевшие и удлинившиеся шеи, не держа тяжелой мертвой головы.

Трое суток в бессменном дежурстве стояли над Каменкой мертвецы, угрожая незаряженными револьверами; и по ночам, когда свет костров уравнивал мертвых с живыми, боялись близко подходить к ним и сами охранявшие их стражники. Но так и оставался нерешенным вопрос о личности

убитого предводителя: одни из Гнедых говорили, что Жегулев, другие, из страха ли быть замешанными или вправду не узнавая, доказывали, что не он. К тому же, как раз в одну из этих ночей разлилось зарево за лесом, и сразу распространился неведомо откуда слух, что это жжет новые усадьбы Сашка Жегулев.

Собрались на горке мужики без шапок и босиком, смотрели на далекий разгоравшийся пожар и, боясь и стражников и тех четырех, что неподалеку молчали и тоже как будто смотрели на пожар, тихо и зябко перешептывались:

– Вот тебе и поймали!

– Его поймаешь! Ты его здесь пригвоздил, а он на тебе: жжет.

– Чего ж не жечь, когда само горит... Эх, и сапожки хороши у разбойничка, то-то бы погреться. А то, пляши не пляши, нет тебе настоящего ходу.

Говоривший зябко перебрал и топнул ногами, словно и вправду собирался плясать. Тихо засмеялись.

– Поди да сыми.

– Сам поди, а я и тут хорош. Надо быть, у Плыновых горит.

– Сказал! Плыновы вон где, а он: у Плыновых! Плыновых еще погоди.

Засмеялись тихо. Кто-то громко, чтобы слышали стражники, сказал:

– Сам помещик и жжет, для страховки, а на других только

слава. В дубье их надо!

Из молчаливой кучки стражников, смотревших на пожар, донесся угрюмый окрик:

– Поговори там! Храбер ты, как темно, а ты днем мне скажи, чтоб морду твою видеть.

– Моя морда запечатанная, ввек тебе ее не увидать!

Уже громко засмеялись, и другой насмешливый голос крикнул стражнику:

– То-то ты не трус! Эй, гляди назад: Жегулев стрелять хочет!

Оглянулись.

В призрачном свете, что бросали на землю красные тучи, словно колыхались четыре столба с привязанными мертвецами. Чернели тенью опущенные лица тех трех, но голова Жегулева была слегка закинута назад, как у коренника, и призрачно светлело лицо, и улыбался слишком большой, разорванный рот с белеющими на стороне зубами.

Так в день, предназначенный теми, кто жил до него и грехами своими обременил русскую землю, – умер позорной и страшной смертью Саша Погодин, юноша благородный и несчастный.

20. Эпилог

На другое утро после визита к губернатору обе женщины вместе отправились искать по городу квартиру, и Елена Петровна, медленно переходя с одной стороны на другую, сама читала билетки на окнах и воротах. И взяли квартирку в центре города, на одной из больших улиц, нарочно там, где ходит и ездит много народу – в нижнем этаже трехэтажного старого дома, три окна на улицу, остальные во двор. Темноватая была квартира, хотя не вешали ни драпри, ни занавесей, и только на уличных, квадратных, глубоких в толстой стене окнах продернули на веревочке короткие занавесочки от прохожих. У этих окон были почему-то мраморные, холодные подоконники, а в одной комнате находился серый мраморный камин, больше похожий на умывальник: по-видимому, предназначалась когда-то квартира для роскоши, или жил в ней сам владелец.

Переехав, начали было расставлять мебель, но на половине бросили, и через два месяца комнаты имели такой же вид, как и в первый день переезда: в передней стояли забитые ящики и сундуки, завернутые в мочалу вешалки – платья вешали на гвоздиках в стене, оставшихся от кого-то прежнего; стоял один сундук и в столовой, и горничная составляла на него грязную посуду во время обеда. Чай пили и обедали вдвоем только на кончике большого стола, и только кончик

этот застилался скатертью – словно так велик был Саша, что один занимал всю ту большую голую половину стола. И часто весь день, не убираясь, стоял холодный самовар и грязные чашки: обленилась горничная, увлеченная жизнью большой и людной улицы со многими лавками, только потому и оставалась, что служит у генеральши.

Никто у Погодиных не бывал: сперва и приезжали, но Елена Петровна никого не принимала, и вскоре их оставили в покое, и одиноко, только друг с другом, жили обе женщины, одетые в черное. Когда в половине августа наступило учебное время, Линочка не пошла в гимназию, и так получилось, что она гимназию бросила, хотя ни мать, ни она сама об этом не говорили и не вспоминали: так вышло. За лето Линочка выросла до одного роста с матерью и так сильно похудела, что больше стала похожа на другого, нового человека, чем на себя. И исчезло куда-то сходство с покойным отцом, генералом, а вместо того с удивительной резкостью неожиданно проступили и в лице, и в манерах, и в привычках материнские черты. Тот легкий, полудетский сон, оставшийся от детства, что даже плачущим глазам Линочки придавал скрытое выражение покоя и счастья, навсегда ушел: глаза раскрылись широко и блестяще, углубились и потемнели; и лег вокруг глаз темный и жуткий обвод страдания, видимый знак печали и горьких дум. Еще странность и новизна: русые волосы, особенно напоминавшие генерала, в одно лето потемнели почти до черноты и, вместо мелких и веселых завиту-

шек, легли на красивой и печальной головке тяжелыми без блеска волнами.

Изредка, в хорошую погоду и обычно в тихий час сумерек, обе женщины ходили гулять, выбирая без слов и напоминаний те места, где когда-то гуляли с Сашенькой; обе черные, и Елена Петровна приличная и важная, как старая генеральша, – ходили они медленно и не спеша, далеко и долго виднелись где-нибудь на берегу среди маленьких мещанских домишек в мягкой обесцвеченности тихих летних сумерек. Иногда Линочка предлагала присесть на крутом берегу и отдохнуть, но Елена Петровна отвечала:

– Ты знаешь, Линочка, что я люблю сидеть только на лавочке.

Нашлась одна такая старая без спинки лавочка, поставленная на берегу любителем природы, и там иногда сидели, смотря на реку и проходящие пароходы. И когда проходил пассажирский пароход, спозаранку расцветившийся огнями, Елена Петровна не спеша рассматривала его в очки, которые для дали, и говорила:

– Надо бы нам, Линочка, поехать по реке.

Линочка смотрела, делая вид, что ей тоже очень интересно, и думала молча: «Отчего я теперь не умею говорить? Мне надо бы сказать сейчас, что на пароходе очень интересно и что надо бы поехать, а я не знаю, что говорить, и молчу».

Но гуляли женщины редко, – и день и вечер проводили в стенах, мало замечая, что делается за окнами: все куда-то

шли и все куда-то ехали люди, и стал привычен шум, как прежде тишина. И только в дождливую погоду, когда в мокрых стеклах расплывался свет уличного фонаря и особенным становился стук экипажей с поднятыми верхами, Елена Петровна обнаруживала беспокойство и говорила, что нужно купить термометр, который показывает погоду.

– Барометр, мамочка, – поправляла Линочка, а Елена Петровна соглашалась:

– Да, да, барометр.

Случалось, что с утра обе они начинали ходить по столовой, которая была больше других комнат, и ходили до самой ночи, только на короткое время присаживаясь для обеда и чая. Вносила горничная лампу, – висячую лампу над столом все только собирались достать из ящика, – и тогда ходили при свете, а забывала горничная внести – ходили в растущей темноте, все более приближавшейся к цвету ихних платьев, пока не становилось трудно различать предметы. И хотя обе все время только и думали что о Саше, но почти не говорили о нем: сами мысли казались разговором, и Линочка, забываясь, даже боялась думать страшное, чтобы не услышала мать. И по комнате Елена Петровна ходила с крайней медленностью, смотрела вниз, слегка склонив голову, и перебирала прозрачными пальцами тоненькую домашнюю цепочку от часов, старушечьи заострив локти в черном блестящем шелку. И однажды сказала, продолжая вслух свои мысли:

– Помнишь, Линочка, я говорила как-то, что у Сашеньки

нет никаких талантов?

– Это я говорила, мамочка, ты ошибаешься.

– Нет, дружок, это ты ошибаешься, и говорила я. Теперь ты видишь, какой у Сашеньки талант?

– Да.

– Очень, очень большой талант. Но только, конечно, совсем особенный, мужской, и нам с тобой никогда его не понять, Линочка.

Спали обе женщины в одной комнате, и мать никогда не узнала, каким это было ужасом для измученной, в своем огне горевшей Линочки. И ужас начинался с той минуты, как тушилась свеча, и Линочка знала, что мать не спит и не заснет, и думает свое, и лежит тихонько, чтобы не мешать Линочкиному сну. Невыносимо было молчание и притворство, а в нем проходили часы, – и вот начинала громче вздыхать Елена Петровна, думая, что заснула дочь и она теперь одна и никому не мешает. И вздыхала не торопясь, надолго; потом, забывая окружающее, начинала тихонько со вздохами шептать, и шептала долго, неразборчиво, как скребущаяся мышь. Минут на пять переставала шептать и вздыхать и неопределенно замолкала: и в эти пять минут переставало биться сердце у Линочки в мучительном ожидании. И снова начинались в постепенности вздохи и шепот, велись какие-то бесконечные разговоры; видимо, Елена Петровна все-таки сознавала окружающее – вдруг белым призраком в своей ночной кофточке поднимется и поправит начавшую коп-

тить лампадочку за зеленым стеклом. Подняв голову, испуганно следит за ней Линочка и бесшумно прячется в одеяло: и тихонько поскрипывает постель, давая место старому телу, и снова в постепенности зарождаются вздохи и шепот, точно какую-то стену прогрызает осторожная и пугливая мышь. Иногда прозвучит и разборчивое слово, малоговорящая фраза, озабоченный вздох:

– Дождь-то какой... ай-ай-ай. Дождь-то какой...

И непременно наступит после этого пятиминутное молчание: словно испугалась мышь громкого голоса и притаилась... И снова вздохи и шепот. Но самое страшное было то, когда мать белым призраком вставала с постели и, став на колени, начинала молиться и говорила громко, точно теперь никто уже не может ее слышать: тут казалось, что Линочка сейчас потеряет рассудок или уже потеряла его.

– Сын мой, Сашенька!..

Так начиналась молитва, а дальше настолько безумное и неповторяемое, чего не воспринимали ни память, ни слух, обороняясь, как от кошмара, стараясь не понимать страшного смысла произносимых слов. Сжавшись в боязливый комок, накрывала голову подушкой несчастная девочка и тихо дрожала, не смея повернуться лицом к спасительной, казалось, стене; а в просвете между подушками зеленоватым сумерком безумно светилась комната, и что-то белое, кланяясь, громко говорило страшные слова.

Только к рассвету засыпала мать, а утром, проснувшись

поздно, надевала свое черное шелковое платье, чесалась аккуратно, шла в столовую и, вынув из футляра очки, медленно прочитывала газету.

И чай наливала Линочка, печальная, красивая и спокойная девушка в черном платье.

Эта газета, которую по утрам читала мать, была опять-таки мучением для дочери: нужно была проснуться раньше и каждое утро взглянуть, нет ли такого, чего не может и не должна читать Елена Петровна. И однажды утром, – это было еще в конце июля месяца, – просматривая газету, Линочка нашла известие, что вчера убит в перестрелке знаменитый разбойник Сашка Жегулев. Так до самого выхода Елены Петровны она и не решила, что делать ей с собой и с газетой, и в спальню поздороваться с матерью, как обычно, не пошла и, держа в груди всю буйную толпу задержанных рыданий, молча, не здороваясь, подала газету. Елена Петровна взглянула на дочь, потом на газету и, сразу заторопившись, не попадая за уши тонкой оправой очков, молча трясла головою, искала строки, еще не видя. Наконец прочла-и не спеша сняла очки дрожащими пальцами и внимательно посмотрела на Линочку:

– Это не Сашенька... успокойся, не плачь, это не Сашенька.

Но уже вырвались на свободу рыдания: билась в черных коленях у матери плачущая девушка и кричала:

– Откуда ты знаешь! Да родная же моя мамочка, я сейчас

умру, умру, умру. Откуда ты знаешь?

Тихо плакала – за дочь, а не за себя – Едена Петровна и успокаивала бережно:

– Успокойся, деточка, не плачь, это не Сашенька. Я знаю, не плачь, это не Сашенька, нет, нет...

И весь день в тоске, не доверяя предчувствиям матери, провела Линочка, а следующий номер газеты принес чудесное подтверждение: убит, действительно, не Сашка Жегулев, а кто-то другой. И снова без отмет и счета потянулись похожие дни и все те же страшные ночи, вспоминать которые отказывались и слух, и память, и утром, при дневном свете, признавали за сон.

К концу августа что-то новое появилось в мыслях Елены Петровны: медленно, как всегда, прохаживаясь с дочерью по комнате, она минутами приостанавливалась и вопросительно глядела на Линочку; потом, качнув головой, шла дальше, все что-то думая и соображая. Наконец решила:

– Ты замечаешь, Лина, что уже давно не слышно о Сашеньке? Ты, девочка, должна была это заметить, это так заметно.

Линочка нерешительно возразила:

– Нет, мамочка, в газетах пишут.

– Ах, мало ли что пишут в этих газетах, как ты можешь этому верить. И знаешь ли, что я думаю, Линочка?

И с строгим достоинством, точно поглубже стараясь скрыть тихую радость, Елена Петровна высказала догадку,

скорее, утверждение:

– Я думаю, Линочка... и не думаешь ли ты, что Сашенька мог уехать в Америку? Тише, тише, девочка, не возражай, я знаю, что ты любишь возражения. Америка достаточно хорошая страна, чтобы Сашенька мог остановить на ней свой выбор, я же хорошо помню, он что-то рассказывал мне очень хорошее об этой стране. Неужели ты не помнишь, Линочка?

Но больше к этой мысли, на некоторое, по крайней мере, время, она не возвращалась: была ли обижена недоверием, или же сама еще недостаточно твердо решила вопрос. Когда в конце октября появилось известие о смерти Сашки Жегулева, то и к этому известию Елена Петровна отнеслась с тем же спокойным недоверием и на несколько часов поколебала даже Линочку. Но было что-то неуловимо-страшное в черных строках, в каких-то маленьких подробностях, – и, мучаясь неизвестностью, Линочка пошла в город, к Жене Эгмонт. Вернулась она довольно скоро, и глаза у нее были странные, но день прошел обычно; а на следующее утро она снова уходила, и так несколько дней подряд, и глаза у нее были странные, – но в остальном все шло по-обычному.

Только обеспокоила Елену Петровну как раз в эти дни разразившаяся буря: гремело на вывесках железо от ледяного северного ветра, уныло-сумрачен был короткий день, и, хотя настоящего снега не было, – около тротуарных тумбочек, и у стен, и в колдобинах мостовой забелелось, намело откуда-то. Весь день Елена Петровна посылала смотреть

на градусник, ужасаясь растущему холоду, а ночью, в свисте ветра, в ударах по стеклу то ли сухих снежинок, то ли поднятого ветром песку, зашептала раньше обыкновенного, потом стала кричать и с криком молиться.

Но буря пронеслась, наступил день, и Елена Петровна успокоилась и снова, останавливаясь, начала вопросительно поглядывать на Линочку. Уже давно никто не нарушал их одиночества даже звонком, и, когда в прихожей среди тишины резко звякнул звонок, Елена Петровна вздрогнула и, трясясь, сразу заспешив с очками, обратилась к двери; молчала Линочка, не трогаясь с места, и кто-то тихо раздевался в прихожей.

– Кто это? – воскликнула Елена Петровна. – Зачем вы меня пугаете?

И в высокой стройной девушке, одетой в черное, не сразу узнала Женю Эгмонт, а та стояла в дверях и плакала, и плакала навзрыд Линочка, и стало так страшно!..

Неслышно шагнула вперед Женя и, склонившись на колена, припала к прозрачным, дрожащим рукам своей мокрой, холодной щекой; и говорила вздохами и слезами:

– Мамочка! Мамочка!

Но Елена Петровна отталкивалась и трясла головой:

– Саша умер? Саша умер?

– Да нет же! – кричала Линочка и кричала Женя. – Он жив, он жив!

– А, жив, так что же вы! – как будто даже со злобой гово-

рила Елена Петровна и в другое перенесла свою тоску, боль, мучительный испуг, – вцепилась обеими руками в худенькие, податливые плечи Жени, сильная и безжалостная, трясла ее и кричала:

– Нет, ты веришь! Ты пришла... нет, ты веришь, что он поступает хорошо, хорошо? Говори же, ты веришь! Женя!

– Верю, мамочка. Я его невеста. Я с тобою буду ждать его!

С этого дня три в черном шелестом своих платьев будили тишину темных комнат, тихо ходили, еле слышно касаясь друг друга, говорили ласковыми словами. Мелькнет узкая рука, в озарении любви и душистого тепла колыхнется что-то нежное: шепот ли, слившийся с шелестом платья, или заглушенная слеза: мать – сестра – невеста.

Пал на землю снег, и посветлело в комнатах. И уже не те стали комнаты: занялись обе девушки уборкой и раскрыли ящики, расставили мебель, повесили драпри и гардины – при равнодушном внимании Елены Петровны. Одну комнату оставили для Саши.

По вечерам все сидели вместе, разговаривали о разном и много читали: теперь Елена Петровна совсем поверила, что Саша уехал в Америку, и каждый вечер, надевая очки, – она и слушала почему-то в очках, – просила:

– Ну-ка, Линочка, почитай мне об Америке... ты ничего не имеешь против, Женечка? Это очень хорошая страна.

– Я и сама буду читать, мама, – отвечала Женя весело, – мы будем по очереди.

– Вот все и устраивается прекрасно. Читай же, Линочка.

Читали по очереди девушки: и пока ходила плакать одна, читала другая. И, шутя утверждая бессмертие жизни и бесконечность страдания, Елена Петровна вытирала под очками глаза, потом снимала и прятала в футляр, говоря со вздохом:

– Теперь Сашеньке хорошо. Америка очень хорошая страна, очень!

19 октября 1911 года